

Мейер К.

АМУЛЕТ
СВЯТОЙ
ПАЖ ГУСТАВА АДОЛЬФА

КЛАССИКА
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО
РОМАНА

Классика приключенческого романа

Конрад Мейер

Амулет. Святой. Паж
Густава Адольфа

«Алгоритм»

1873, 1879

УДК 821.112.2
ББК 84(4Ш)

Мейер К. Ф.

Амулет. Святой. Паж Густава Адольфа / К. Ф. Мейер —
«Алгоритм», 1873, 1879 — (Классика приключенческого романа)

ISBN 978-5-486-03911-9

Конрад Фердинанд Мейер (1825–1898) – швейцарский поэт и писатель, один из наиболее выдающихся мастеров исторической новеллы. Он поздно пришел в литературу. Дебютировал сборником «Двадцать баллад» (1864), а профессионально начал заниматься писательской деятельностью в сорок пять лет. В своих произведениях Мейер изображал исторические эпохи, насыщенные острой и напряженной борьбой. Достоинство его новелл заключается в их большой психологической правде, в верности исторического колорита. В этом томе публикуются три произведения писателя. Герой повести «Амулет» немецкий протестант Ганс Шадау нанимает себе в телохранители бродягу богемца, отлично владеющего шпагой. Но затем выясняется, что таинственный мастер клинка – преступник, по следу которого идет швейцарская полиция. . . В повести «Святой» рассказывается о трагической судьбе английского мученика Томаса Бекета, убитого в Кентерберийском соборе по приказу Генриха II. Новелла «Паж Густава Адольфа» повествует о самозабвенной любви молодой девушки Густель к шведскому королю Густаву Адольфу. Переодетая юношей, она повсюду сопровождает любимого человека и умирает, жертвуя собой ради него.

УДК 821.112.2

ББК 84(4Ш)

ISBN 978-5-486-03911-9

© Мейер К. Ф., 1873, 1879

© Алгоритм, 1873, 1879

Содержание

Амулет	7
Глава I	7
Глава II	9
Глава III	13
Глава IV	18
Глава V	24
Глава VI	28
Глава VII	31
Глава VIII	34
Глава IX	38
Глава X	41
Святой	42
Предисловие	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Конрад Фердинанд Мейер
Амулет. Святой. Паж Густава Адольфа

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

Амулет

*Предо мной лежат старые пожелтевшие листки с заметками
начала XVII века. Я передаю их на языке нашего времени.
Конрад Фердинанд Мейер, 1873*

Глава I



Сегодня, 14 марта 1611 года, я отправился верхом из своих владений на Бильском озере в Курсион, к старому Боккару, чтобы закончить затянувшиеся переговоры о продаже принадлежащей мне дубовой и буковой рощи близ Мюнхвейлера. В продолжительной переписке старик добивался понижения цены. В ценности этого лесного участка не могло быть серьезных сомнений; тем не менее старец считал своим долгом выторговать с меня хоть сколько-нибудь. Так как, однако, я имел достаточно оснований оказать ему любезность и, кроме того, нуждался в деньгах, для того чтобы облегчить моему сыну, состоявшему на службе Генеральных Штатов и обрученному с кругленькой белокурой голландкой, устройство нового хозяйства, я решил уступить и поскорее покончить сделку.

Я застал его в его странном поместье одиноким и опустившимся. Его седые волосы в беспорядке свисали ему на лоб и затылок. Когда он услышал о моей готовности уступить, его потухшие глаза при этом радостном известии засверкали. На склоне лет копил и собирал он богатства, забывая, что с ним кончался род его и что все его имущество должно было достаться чуждым ему наследникам.

Он повел меня в маленькую комнату в башне, где в изъеденном червями шкафу хранились его бумаги, предложил сесть и попросил составить договор. Окончив эту небольшую работу, я обернулся к старику, который в это время рылся в ящиках в поисках печати, по видимому затерявшейся среди вещей. Увидев, как поспешно он все разбрасывал, я невольно поднялся, желая ему помочь. В это время он как раз с лихорадочной торопливостью открыл потайной ящик; я подошел к нему, взглянул – и не мог удержать глубокого вздоха.

В ящике лежали рядом два странных, слишком хорошо мне знакомых предмета, а именно: продырявленная войлочная шляпа, когда-то пробитая пулей, и круглый большой серебряный образок с довольно грубо вычеканенным изображением Эйнзидельнской Божьей Матери.

Старик повернулся ко мне, как бы отвечая на мой вздох, и заговорил жалобным тоном:

– Да-да, господин Шадау, Божья Матерь Эйнзидельнская еще могла оберегать меня и дома, и на поле брани, но с тех пор, как на свет появилась ересь и опустошила и нашу Швейцарию, могущество милостивой Царицы Небесной угасло даже для верных католиков. Это случилось на Вильгельме, моем милым мальчике.

И слеза появилась на его седых ресницах.

При этой сцене мне стало больно, и я сказал старику несколько слов утешения по поводу утраты его сына, бывшего моим сверстником и павшего рядом со мной смертельно раненым. Но мои слова, казалось, его расстроили, или же он не дослушал их, потому что он снова поспешно вернулся к разговору о нашем деле, снова начал искать печать, наконец нашел ее, скрепил купчую и вскоре, без особой вежливости, отпустил меня.

Я отправился домой. Дорогой, в сумерках, с ароматом весенней ночи поднимались передо мной с такой непреодолимой силой, с такой ясностью, в таких резких очертаниях картины прошлого, что мне становилось больно.

Судьба Вильгельма Боккара была тесно сплетена с моей, сначала в радости, потом в горе. Я навлек на него смерть. И все же, как бы меня это ни угнетало, я не раскаиваюсь и сегодня поступил бы так же, как тогда, когда мне не было и двадцати лет. Тем не менее воспоминания о давно минувшем до того захватили меня, что я решил письменно изложить всю эту необычайную историю и этим облегчить свою душу.

Глава II

Я родился в 1553 году и не знал своего отца, несколько лет спустя павшего на окопах Сен-Кантена. Будучи по происхождению из Тюрингии, мои предки искони состояли на военной службе и следовали в бой за многими полководцами. Мой отец оказал особенно много услуг герцогу Ульриху Вюртембергскому, за преданную службу предоставившему ему должность в своем графстве Мампельгард и оказавшему содействие его браку с одной девицей из Берна, предок которой был его другом еще в те времена, когда Ульрих изгнанником скитался по Швейцарии. Однако моему отцу было не по себе на спокойном месте, и он поступил на службу Франции, в то время собиравшейся защищать Пикардию от Испании. Это был его последний поход.

Мать моя последовала за отцом в могилу немного спустя. Меня взял к себе дядя со стороны матери, владелец поместья у Бильского озера, представлявший собой явление своеобразное и утонченное. Он мало вмешивался в общественные дела, и в землях Бернских его терпели лишь благодаря его блестящему имени, записанному в летописи страны. С юных лет он занимался толкованием Библии, что, правда, не было удивительно в эту эпоху религиозных потрясений. Но удивителен был сделанный им из некоторых мест Священного Писания, в особенности из Откровения Иоанна, вывод, что настал конец света и что поэтому неблагоприятно и суетно накануне этой катастрофы основывать новую церковь. Вследствие этого он решительно и упорно отказывался пользоваться принадлежащим ему по праву местом в Бернском соборе. Как сказано, только его уединенная жизнь защищала его от карающей руки церковной власти.

На глазах этого безобидного и милого человека я вырос на деревенской свободе если и не без строгости, то все же не зная розог. Общество мое составляли мальчишки соседней деревни и их пастор, строгий кальвинист, которому мой дядя самоотверженно предоставил обучать меня господствующему в стране вероучению.

Эти два воспитателя моей юности расходились во многом. Между тем как богослов вместе со своим учителем Кальвином смотрел на вечность адских мук как на необходимую основу богобоязни, мирянин утешал себя грядущим прощением и радостным воскресением. Суровая последовательность учения Кальвина доставляла наслаждение моему разуму и развивала мои мыслительные способности. И я овладевал этим учением словно прочной сетью, не теряя в ней ни одной петли, но сердце мое, без оговорок, принадлежало дяде. Его картины будущего интересовали меня мало, только один раз ему удалось смутить меня. Уже давно я лелеял мечту обладать диким жеребчиком чудной чалой масти, виденным мной в Биле. Однажды утром я пришел с этой большой просьбой к дяде, сидевшему углубленным в книгу. Я боялся отказа не из-за высокой цены, а из-за всем известной неукротимости коня, которого я желал объездить. Едва я успел открыть рот, как он устремил на меня пристальный взор своих светящихся голубых глаз и торжественно сказал: «Знаешь ли ты, Ганс, что означает конь бледный, на котором сидит смерть?»

Я опешил, пораженный дядиным даром ясновидения; но взгляд, брошенный в развернутую перед ним книгу, пояснил мне, что он говорит об одном из четырех апокалиптических всадников и что к моему коню это не имеет ни малейшего отношения.

Ученый пастор преподавал мне одновременно математику и даже начатки военного искусства, поскольку возможно почерпнуть их из известных руководств, так как в молодости своей, будучи студентом в Женеве, он побывал и на поле битвы, и на укреплениях.

Было предрешено, что я, достигнув семнадцати лет, поступлю на военную службу; вопрос относительно того, под чьим командованием я должен провести первые годы своей службы, для меня был тоже решен. Слава великого Колиньи наполняла тогда весь мир. Не победами возвысился он, таковых не выпало ему на долю, но поражениями, которым, благодаря своему

искусству полководца и силе характера, он умел придать значение побед. Он возвышался над всеми полководцами своего времени, уступая только испанскому Альбе, которого я ненавидел, как смертный грех, подобно моему отважному отцу, верно и прямо стоявшему за протестантскую веру, и моему начитанному в Библии дяде, неодобрительно относившемуся к папизму и находившему, что он предречен откровением в образе вавилонской блудницы, я сам уже начал горячо склоняться в эту сторону. Еще будучи мальчиком, я был записан в ряды протестантского отряда, когда в 1567 году надо было взяться за оружие, чтобы оградить Женеву от вторжения Альбы, который из Италии вдоль швейцарской границы пробирался в Нидерланды. Юноше было невозможно оставаться в уединении Шомона, как называлась усадьба моего дяди.

В 1570 году Сен-Жерменский эдикт открыл гугенотам доступ ко всем должностям во Франции. Колиньи, призванный в Париж, обсуждал с королем, сердце которого он, как говорили, завоевал вполне, план похода против Альбы для освобождения Нидерландов. С нетерпением ожидал я на долгие годы затянувшегося объявления войны, которое должно было вызвать меня в ряды Колиньи, ибо конница его искони состояла из немцев, а имя моего отца ему должно было быть памятно с прежних времен.

Но это объявление войны все оттягивалось, и двум досадным происшествиям было суждено омрачить последние дни, проведенные мной на родине.

Однажды в мае, когда мы с дядей вечером ужинали в тени цветущей липы, перед нами предстал с довольно заискивающим видом незнакомец в поношенной одежде, беспокойные глаза и грубые черты которого произвели на меня неприятное впечатление. Он представился милостивым господам как шталмейстер, что в нашем обиходе означало просто конюх, и я уже был готов спровадить его, так как дядя до тех пор не обращал на него никакого внимания, когда незнакомец стал выкладывать передо мной все свои познания и способности.

– Я владею шпагой, – сказал он, – как немногие, и с высшей школой фехтования я знаком основательно.

Будучи лишен возможности посещать городские фехтовальные залы, я именно в этом видел пробел в своем образовании и поэтому, несмотря на мое инстинктивное отвращение к незнакомцу, не задумываясь воспользовался представившимся случаем. Я потащил незнакомца в свою фехтовальную комнату и дал ему в руку клинок, при посредстве которого он так превосходно справился со мной, что я немедленно сговорился с ним и взял его к нам на службу.

Дяде я объяснил, как благоприятен случай в последний момент перед отъездом обогатить сокровищницу моих рыцарских познаний.

С этой минуты я проводил с незнакомцем, – он сообщил, что он по происхождению богемец, – вечер за вечером, зачастую до позднего часа, в моей оружейной комнате, которую я возможно ярче освещал двумя стенными лампами. Я легко усвоил выпады, парадные и вольты и скоро теоретически вполне уверенно исполнил все приемы «школы», к полному удовлетворению моего учителя; тем не менее я приводил его в отчаяние тем, что никак не мог отделаться от известной, врожденной мне размерности в движениях, которую он называл медлительностью и своим молниеносно сверкавшим клинком побеждал шутя.

Для того чтобы внушить мне недостающий пыл, он прибегнул к довольно странному способу. Он пришел на свою фехтовальную рубашку сердце из красной кожи, обозначавшее место, где билось живое сердце, и во время фехтования насмешливо и вызывающе указывал на него левой рукой. При этом он выкрикивал разнообразные боевые клики, чаще всего: «Да здравствует Альба! Смерть нидерландским мятежникам!», или же: «Смерть еретику Колиньи! На виселицу его!» Несмотря на то что эти возгласы в глубине души возмущали меня и делали мне этого человека еще более противным, мне не удавалось ускорить своего темпа, потому что как старательный ученик я уже достиг наивысшей доступной мне скорости. Как-то вечером, когда мой богемец как раз поднял свой страшный крик, в боковую дверь с озабоченным видом вошел дядя, чтобы посмотреть, что происходит, но тотчас же, ужаснувшись, удалился, ибо в

эту минуту мой противник с восклицанием «Смерть гугенотам!» нанес мне в середину груди жестокий удар, который, будь это всерьез, пронзил бы меня.

На следующее утро мы завтракали под нашей липой, у дяди было что-то на душе: я полагаю, что это было желание отделаться от нашего жуткого соседа. В это время бильский городской рассыльный передал ему письмо с большой печатью. Дядя вскрыл его, наморщил во время чтения лоб и передал его мне со словами: «Вот тебе на! Прочти, Ганс, и обсудим, что делать».

Там было сказано, что какой-то богемец, некоторое время тому назад обосновавшийся в Штутгарте в качестве учителя фехтования, из ревности злодейски заколол свою жену, по рождению швабку. Было установлено, что преступник скрылся в Швейцарии; более того, что его, или кого-то чрезвычайно с ним схожего, будто бы видели на службе у владельца Шомона; что последнего, к коему, в память покойного Шадау, зятя его, особенно благоволил герцог Христофор, настоятельно просят подозреваемого арестовать, произвести предварительный допрос и в случае, если подозрения подтвердятся, доставить виновного на границу. Бумага с подписью и приложением печати исходила от герцогской канцелярии в Штутгарте.

Во время чтения этого документа я в раздумье взглянул по направлению комнаты моего учителя, которая находилась в верхнем этаже замка, была видна со двора, и увидел, что он стоит у окна и занимается чисткой шпаги. Порешив схватить преступника и передать его в руки правосудия, я все же бессознательно повернул бумагу так, что, взглянув вниз, он должен был заметить большую красную печать. Этим я давал судьбе краткий срок для его спасения.

Мы обсудили с дядей вопрос о задержании и отсылке виновного, ибо в том, что это он, мы не сомневались ни минуты.

Затем, с пистолетами в руках, мы оба поднялись в комнату богемца. Она была пуста, но, взглянув в открытое окно поверх деревьев во дворе, мы увидели вдали, где дорога скрывалась за холмами, скачущего всадника. Когда мы спускались, посыльный из Биля, привезший бумагу, бросился к нам навстречу, жалобно говоря, что он не может найти своего коня, которого он привязал за воротами, пока его самого угощали на кухне.

К этой досадной истории, привлекавшей всеобщее внимание и в устах людей принявшей фантастические размеры, присоединилась другая неприятность, которая сделала для меня дальнейшее пребывание дома невозможным.

Я был приглашен на свадьбу в Биль, лежащий на расстоянии какого-нибудь часа ходьбы городок, где я имел много, впрочем, поверхностных, знакомств. При моей довольно замкнутой жизни я слыл за гордеца, а так как в ближайшем будущем я помышлял, хотя бы в скромной должности, воплести свою жизнь в великие судьбы протестантского мира, я не мог находить интерес во внутренних раздорах и городских сплетнях маленькой Бильской республики. Поэтому приглашение не особенно улыбалось мне, и только по настояниям моего так же удивившегося, но, несмотря на это, общительного дяди я согласился принять его.

С женщинами я был застенчив. Будучи крепкого телосложения и необыкновенно высокого роста, но некрасив лицом, я смутно представлял себе, что отдам все свое сердце только одной и что случай к этому представится в среде, окружающей моего героя Колиньи. Кроме того, я был твердо уверен, что полное счастье может быть куплено лишь ценой всей жизни.

Среди моих юношеских увлечений первое место после великого адмирала занимал его младший брат Дандело, смелое сватовство которого, известное всему миру, разжигало мое воображение. Свою возлюбленную, лотарингскую девушку, он увез из родного города Нанси на глазах у своих смертельных врагов, католиков Гизов, с торжественными трубными звуками проехав с ней мимо герцогского замка.

Я желал, чтобы нечто подобное было предназначено и мне.

Скучный и угрюмый, я отправился в Биль. Ко мне были очень предупредительны и за столом указали место около премоилы девушки. Как это всегда бывает с застенчивыми людьми, для того, чтобы избежать молчания, я впал в другую крайность и, чтобы не показаться невеж-

ливым, оживленно ухаживал за своей соседкой. Против меня сидел сын городского головы, важного москательного торговца, стоявшего во главе аристократической партии, ибо в маленьком Биле, как и в больших республиках, были свои аристократы и демократы. Франц Годильяр (так звали молодого человека), имея, быть может, какие-нибудь виды на мою соседку, с возрастающим интересом и враждебными взглядами следил за нашим разговором, чего я, впрочем, вначале не замечал.

Хорошенькая девушка спросила меня, когда я думаю уезжать во Францию.

– Как только будет объявлена война палачу Альбе, – ответил я горячо.

– О таком человеке следовало бы говорить в более почтительных выражениях! – бросил мне через стол Годильяр.

– Вы забываете, – возразил я, – о насилиях над нидерландцами. К их притеснителю не может быть уважения, будь это хоть величайший полководец в мире!

– Он усмирил мятежников, – был ответ, – и дал пример, полезный и для нашей Швейцарии.

– Мятежников! – воскликнул я и залпом выпил стакан огненного карталья. – Они мятежники не больше и не меньше, чем те, кто дал клятву на Рютли!

Годильяр принял заносчивый вид, поднял с важностью брови и продолжал, ухмыляясь:

– Если когда-нибудь основательный ученый исследует это дело, то, быть может, обнаружится, что восставшие против австрийцев крестьяне лесных кантонов были глубоко не правы и повинны в мятеже. Впрочем, это сюда не относится; я только утверждаю, что молодому человеку без заслуг, независимо от каких-либо политических мнений, не к лицу осыпать ругательствами знаменитого воина.

Этот намек на невольную задержку в моей военной службе возмутил меня до глубины души, желчь поднялась во мне.

– Негодяй, – крикнул я, – тот, кто берет под свою защиту негодяя Альбу!

Поднялась бессмысленная потасовка, после которой Годильяра унесли с разбитой головой, а я удалился с окровавленной и изрезанной брошенным в меня стаканом щекой.

Утром я проснулся с чувством великого стыда, предвидя, что я, защитник евангельской истины, прослышу пьяницей.

Недолго думая, я упаковал мой дорожный мешок и простился с дядей. Я рассказал ему о своей неудаче, и, после непродолжительного разговора, он дал согласие на то, чтобы я ожидал объявления войны в Париже. Я взял сверток золота из маленького наследства моего отца, вооружился, оседлал своего чалого коня и выехал по дороге во Францию.

Глава III

Без особых приключений я проехал Франш-Конте и Бургундию, добрался до берегов Сены и как-то вечером увидел башни Мелена, над которыми нависли тяжелые грозовые тучи. До городка оставалось не больше часа езды. Проезжая деревню, находившуюся у дороги, я увидел на каменной скамье у довольно приличной гостиницы «Три лилии» молодого человека, который, по-видимому, тоже был путешественником и воином; однако его одежда и вооружение были так нарядны, что мое кальвинистское одеяние резко от них отличалось. Так как в план моего путешествия входило до наступления ночи добраться до Мелена, я лишь бегло ответил на его поклон и проехал мимо. При этом мне послышалось, что он крикнул мне вслед:

– Счастливого пути, земляк!

Еще четверть часа я упрямо продолжал свой путь; в это время гроза тяжело надвигалась мне навстречу, воздух становился невыносимо душным, и короткие горячие порывы ветра поднимали на дороге пыль. Мой конь храпел. Вдруг ослепительная молния с треском ударила в нескольких шагах от меня в землю. Мой конь стал на дыбы и бешеным прыжком бросился обратно по направлению к деревне, где под проливным дождем, у самых ворот гостиницы, мне наконец удалось укротить испуганного жеребца.

Молодой проезжий, улыбаясь, поднялся с каменной скамьи, защищенной навесом, позвал конюха, помог мне отвязать дорожный мешок и сказал:

– Не раскаивайтесь, что вам придется переночевать здесь; вы найдете тут прекрасное общество.

– Я не сомневаюсь в этом! – отвечал я с поклоном.

– Я, конечно, говорю не о себе, – продолжал он, – а об одном почтенном старом господине, которого хозяйка называет парламентским советником – видимо, важным сановнике – и его дочери или племяннице, несравненной девушке... Отведите господину комнату! – с этими словами он обратился к входившему хозяину. – А вы, земляк, скорее переоденьтесь и не заставляйте нас ждать, ибо ужин готов.

– Вы называете меня земляком? – спросил я по-французски, так как и он обращался ко мне на этом языке. – Почему вы принимаете меня за земляка?

– По всему вашему облику! – весело отвечал он. – Прежде всего вы немец, а по вашей твердости и положительности я узнаю в вас уроженца Берна. Я же ваш верный союзник из Фрибурга и зовусь Вильгельмом Боккаром.

Я последовал за хозяином в комнату, которую он указал мне, переоделся и спустился вниз в столовую, где меня ожидали. Боккар подошел ко мне, взял меня за руку и представил седому господину благородной наружности и стройной девушке в амазонке, говоря: «Мой товарищ и земляк...» При этом он взглянул на меня вопросительно.

– Шадау из Берна, – закончил он.

– Мне чрезвычайно приятно, – ответил старый господин любезно, – познакомиться с молодым гражданином знаменитого города, которому мои братья по вере в Женеве стольким обязаны. Я парламентский советник Шатильон, которому религиозный мир дает возможность вернуться в его родной город Париж.

– Шатильон? – повторил я с почтительным изумлением. – Это фамилия великого адмирала.

– Я не имею чести состоять с ним в родстве, – возразил парламентский советник, – или если и в родстве, то только в очень дальнем; но я знаком и дружен с ним, насколько это позволяет различие сословий и личных заслуг. Однако садимся, господа; суп дымится, а вечер достаточно велик для разговоров.

Мы сели за дубовый стол с витыми ножками. С одной стороны сидела молодая девушка, по правую и левую руку от нее было накрыто для советника и Боккара, я же помещался напротив. Когда трапеза была закончена при обычных расспросах и дорожных разговорах и к скромному десерту был подан искристый напиток соседней Шампани, речи начали становиться более развязными.

– Я должен вас похвалить, господа швейцарцы, – начал советник, – за то, что вы после коротких распрей сумели примириться в вопросах религии. Это доказывает, что вы обладаете чувством справедливости и здравым смыслом; моя несчастная родина должна была бы взять с вас пример. Неужели мы никогда не научимся понимать, что совесть нельзя покорить и что протестант может так же пылко любить свою родину, отважно защищать ее и подчиняться ее законам, как и католик!

– Вы слишком щедры в похвале нам! – вмешался Боккар. – Действительно, мы, католики и протестанты, кое-как миримся друг с другом, но раздвоение религии почти уничтожило всякое общение между нами. В прежние времена мы из Фрибурга часто роднились с бернцами. Теперь же это прекратилось, и долгие связи порваны. В путешествии, – продолжал он с улыбкой, обратившись ко мне, – мы еще иногда помогаем друг другу, но дома мы едва кладемся.

Позвольте мне рассказать вам: когда я был в отпуске во Фрибурге, – я служу в швейцарских войсках его христианнейшего величества, – как раз справлялся «молочный праздник» на Плаффейских лугах, где находится имение моего отца, а также пастбища Кирхбергов из Берна. Это было печальное празднество. Кирхберг приехал со своими четырьмя дочерьми, представительными бернками, с которыми, когда мы были еще детьми, я ежегодно танцевал на лужайках. Можете себе представить, что после первого же танца эти девушки среди позванивающих коров подняли богословский разговор и меня, всегда мало интересовавшегося этим, начали называть идолопоклонником и гонителем христиан, потому что в полях битвы при Жарнаке и Монконтуре я выполнил свой долг против гугенотов.

– Разговоры о религии, – заметил советник, – сейчас висят в воздухе. Но почему только нельзя вести их со взаимным уважением и приходить к примирению и к соглашению? Так, я уверен, что, например, вы, господин Боккар, не предадите меня костру из-за моей евангелической веры и что вы не последний из осуждающих жестокость, с которой уже давно обращаются с кальвинистами на моей бедной родине.

– Можете быть в этом уверены! – ответил Боккар. – Только вы не должны забывать, что нельзя назвать жестокими старинные законы государства и церкви, если они стремятся всеми средствами отстоять свое существование. Что же касается жестокости, то я не знаю более жестокой религии, чем кальвинизм.

– Вы думаете о Сервете? – тихо сказал советник, и лицо его омрачилось.

– Я думал не о человеческом суде, – возразил Боккар, – а о божественном правосудии, которое так искажает мрачная новая вера. Я лично ничего не понимаю в богословии, но мой дядя, каноник во Фрибурге, внушающий доверие и ученый человек, уверял меня, что один из догматов кальвинистов гласит, что ребенок, прежде чем сделать что-нибудь худое или доброе, с колыбели уже обречен или на вечное блаженство, или на муки ада. Это слишком ужасно, чтобы быть правдой!

– И все-таки это правда, – сказал я, вспоминая наставление моего пастыря, – ужасно или нет, но оно логично.

– Логично? – спросил Боккар. – Что значит логично?

– Логично то, что не противоречит само себе, – вымолвил советник, которого, по-видимому, забавляла моя горячность.

– Божество всемогуще и всеведуще, – продолжал я с уверенностью победителя, – в Его воле – предвидеть и не предотвращать, поэтому наша судьба предрешена с колыбели.

– Я бы с удовольствием опроверг вас, – сказал Боккар, – если бы только смог припомнить аргумент моего дяди! У него был убедительнейший аргумент против этого...

– Вы бы доставили мне большое одолжение, – заметил советник, – если бы постарались вспомнить этот прекрасный аргумент.

Фрибуржец налил себе полный бокал вина, медленно опорожнил его и закрыл глаза. После некоторого раздумья он весело сказал:

– Если господа обещают мне не прерывать меня и дать мне возможность беспрепятственно развивать мои мысли, я надеюсь, господин Шадау, что вы вашим кальвинистским Провидением с колыбели обречены на муки ада, – впрочем, сохрани меня Бог от такой невежливости, – предположим лучше, что осужден на мучения я; однако я ведь, слава богу, не кальвинист.

Он взял несколько крошек прекрасного пшеничного хлеба, вылепил из них человека и поставил его на свою тарелку, говоря:

– Вот стоит обреченный с рождения на адские муки кальвинист. Теперь внимание, Шадау! Верите вы в десять заповедей?

– Что вы говорите! – возмутился я.

– Ну-ну, ведь можно же задать вопрос. Вы, протестанты, ведь упразднили много старого! Итак, Бог повелевает кальвинисту: «Делай это! Не делай того!» Не жестокий ли обман такая заповедь, если человеку уже заранее предначертано не иметь возможности творить добро и быть вынужденным творить зло? И такую нелепость вы приписываете высшей мудрости? Это так же ни к чему, как сие творение моих пальцев!

И он щелчком сбил хлебного человечка с тарелки.

– Недурно! – выразил свое мнение советник.

В то время как Боккар старался не проявлять своего чувства удовлетворения, я поспешно взвешивал возражения, но в данный момент ничего подходящего не приходило мне в голову, и я сказал с некоторым стыдом и недовольством:

– Это темный и трудный догмат, который нелегко разъяснить. Впрочем, вовсе не необходимо признавать его, чтобы осудить папизм, очевидные злоупотребления которого вы сами, Боккар, не сможете отрицать. Вспомните о безнравственности попов!

– Да, среди них попадаются скверные личности, – подтвердил Боккар.

– Слепая вера в авторитет...

– Благоедеяние для человеческой слабости, – прервал он меня. – В государстве и в церкви, как в самом маленьком судебном деле, должна быть последняя инстанция, дальше которой нельзя идти.

– Чудотворные реликвии!

– Исцеляли же тень святого Петра и плат святого Павла больных, – очень спокойно возразил Боккар, – отчего же мощи святых не могут творить чудеса?

– А это дурацкое поклонение Деве Марии?..

Не успел я выговорить эти слова, как ясное лицо фрибуржца изменилось, кровь бросилась ему в голову, он покраснел, вскочил со своего кресла и схватился за шпагу, восклицая:

– Вы хотите лично оскорбить меня? Если таково ваше намерение, обнажайте оружие!

Девушка тоже испуганно приподнялась со своего кресла, а советник умиротворяюще протянул обе руки к фрибуржцу. Я был крайне удивлен неожиданным действием моих слов, но не терял присутствия духа.

– О личном оскорблении тут не может быть и речи, – спокойно сказал я. – Я не подозревал, что вы, Боккар, человек, во всем обнаруживающий светскость и образованность и к тому же, как вы сами говорите, проявляющий мало интереса к вопросам религии, в этом единственном пункте проявите такую страстность.

– Разве вы не знаете, Шадау, что известно не только в области Фрибурга, но и далеко за ее пределами, что Эйнзидельнская Божья Матерь явила чудо мне, недостойному?

- Нет, уверяю вас, – возразил я. – Садитесь, дорогой Боккар, и расскажите нам об этом.
- Это известно всему миру и даже изображено на памятной доске в самом монастыре.

На третьем году жизни я тяжело заболел, и следствием болезни явился полный паралич. Все средства оказывались бесполезными, ни один врач не мог помочь мне. Наконец, моя милая добрая мать ради меня предприняла босиком паломничество в Эйнзидельн. И вот свершилось чудо милости Божьей! С часу на час мне становилось легче, я окреп и оправился, и теперь, как видите, стал человеком со здоровыми и прямыми руками и ногами! Только Эйнзидельнской Божьей Матери я обязан тем, что могу радоваться своей молодости, а не влечу своих дней ненужным, безрадостным калекой. Теперь вы поймете, дорогие собеседники, и найдете естественным, что я на всю жизнь обязан благодарностью моей заступнице и от всего сердца предан ей.

С этими словами он вытащил из-под куртки шелковый шнурок, который он носил на шее: на нем висел образок, и он набожно приложился к нему.

Шатильон, наблюдавший за ним со странным выражением, в котором насмешка сочеталась с умилением, начал с обычной своей любезностью:

– А как вы думаете, господин Боккар, каждая мадонна могла бы так счастливо исцелить вас?

– Конечно, нет! – возразил Боккар с оживлением. – Мои родные пытались найти помощь во многих местах, пока не постучались в верную дверь. Эйнзидельнская Божья Матерь – единственная в своем роде.

– Тогда, – продолжал старый француз с улыбкой, – легко будет примирить вас с вашим земляком, если только это еще необходимо при вашем добродушии и веселом нраве, примеры которого вы уже являли неоднократно. Господин Шадау к своему резкому осуждению культа Марии не забудет в будущем сделать оговорку: за почетным исключением Эйнзидельнской Богородицы.

– На это я охотно соглашаюсь, – сказал я, подражая тону старика, однако внутренне особенно одобряя его легкомыслие.

Тут добродушный Боккар схватил мою руку и сердечно пожал ее. Разговор принял другой оборот, и вскоре молодой фрибуржец поднялся и пожелал нам покойной ночи, извиняясь за то, что завтра с раннего утра намеревается продолжать свой путь.

Только теперь, когда закончились волнующие разговоры, я стал более внимательно вглядываться в молодую девушку, которая с большим напряжением, молча следила за нашими речами, и изумился ее несходству с ее отцом или дядей. У старого советника было тонко очерченное, почти боязливое лицо, которое освещали умные темные глаза, то грустные, то насмешливые, но всегда выразительные. У юной девицы, напротив, были белокурые волосы, и ее невинное, но решительное лицо одухотворяли удивительно лучистые голубые глаза.

– Разрешите задать вам вопрос, молодой человек, – сказал советник. – Что именно влечет вас в Париж? Мы с вами одной веры, и, если я могу быть вам полезным, я к вашим услугам.

– Сударь, – отвечал я, – когда вы произнесли имя Шатильон, сердце мое забилося сильнее. Я сын солдата и хочу изучать войну, ремесло моего отца. Я ревностный протестант и хотел бы сделать все, что в моих силах, для доброго дела. Достичь этих целей я могу, только если мне удастся служить и сражаться под предводительством адмирала. Если вы можете помочь мне в этом, вы мне окажете величайшую услугу.

Теперь девушка нарушила свое молчание и спросила:

– Разве вы так преклоняетесь перед господином адмиралом?

– Это первый человек в мире! – ответил я.

– Что ж, Гаспарда, – прервал меня старик, – при таких его прекрасных убеждениях ты, я думаю, замолвишь в пользу молодого человека словечко у твоего крестного.

– Почему же нет, – спокойно сказала Гаспарда, – если он на деле столь же доблестен, как кажется? Другой вопрос, принесет ли мое словечко пользу. Господин адмирал все это время, накануне войны с Фландрией, занят с утра до вечера, осажден просителями, не знает покоя, и я не уверена, есть ли в его распоряжении свободные места. Нет ли у вас рекомендации получше моей?

– Быть может, – ответил я, немного робея, – имя моего отца небезызвестно адмиралу. – Только теперь мне стало ясно, как трудно будет лишенному рекомендации чужестранцу получить доступ к великому полководцу. Я продолжал подавленным тоном: – Вы правы, сударыня, я чувствую, что мало приношу ему: лишь сердце и шпагу, каковых у него уже тысячи. Если бы только брат его Дандело был жив! Тот был мне ближе, к тому я отважился бы пойти! С юных лет он во всем служил мне образцом: не полководец, но отважный воин; не государственный деятель, но стойкий единомышленник; не святой, но у него доброе и верное сердце!

Пока я говорил эти слова, Гаспарда, к моему удивлению, начала слегка краснеть, и ее загадочное для меня смущение все возрастало, пока краска не залила всего ее лица. Старый господин тоже как-то странно смутился и резко сказал:

– Почем вы знаете, был Дандело святым или нет? Однако меня клонит ко сну, пора разойтись. Когда вы приедете в Париж, господин Шадау, почтите меня своим посещением. Я живу на острове Святого Людовика. Завтра мы, вероятно, больше не увидимся. Мы на денек останемся отдохнуть в Мелене. Напишите мне только ваше имя в эту записную книжку. Прекрасно! Всего хорошего, спокойной ночи.

Глава IV

На второй вечер после этой встречи я въезжал в Париж через ворота Сент-Оноре и, усталый, постучался в дверь ближайшего, находившегося, быть может, на расстоянии ста шагов постоянного двора.

Первая неделя прошла в осмотре огромного города и в напрасных поисках одного из соратников моего отца по оружию, о смерти которого я узнал лишь после долгих расспросов. На восьмой день, с бьющимся сердцем, я отправился к жилищу адмирала, находившемуся на узенькой улице недалеко от Лувра.

Это было мрачное старинное здание, и привратник принял меня неприветливо, даже с недоверием. Я должен был написать свое имя на клочке бумаги, который он отнес своему господину, и лишь тогда меня впустил; я прошел через большую приемную, где было много народу, воинов и придворных, пристально разглядывавших проходившего мимо них, и вступил в маленькую рабочую комнату адмирала. Он сидел и писал и жестом пригласил меня ожидать, пока не закончит письма. Я имел достаточно времени с умилением рассмотреть его лицо, которое до того я видел на одной очень выразительной гравюре, дошедшей до Швейцарии и врезавшейся мне в память.

Адмиралу было тогда около пятидесяти лет, но волосы его были белы как снег, а на впалых щеках играл лихорадочный румянец. На его мощном лбу, на сухих руках выступали синие жилки, и во всем его существе ощущалась глубокая сосредоточенность. Он походил на судью во Израиле.

Окончив работу, он подошел ко мне в нишу окна и пронизывающе устремил на меня свои большие голубые глаза.

– Я знаю, что привело вас ко мне, – сказал он, – вы хотите служить доброму делу. Если война вспыхнет, я дам вам место в моей немецкой коннице. А пока... Вы владеете пером? Вы знаете французский и немецкий языки?

Я утвердительно поклонился.

– Пока я дам вам работу у себя. Вы можете принести мне пользу! Добро пожаловать. Я буду ждать вас завтра в восьмом часу. Будьте точны.

Он отпустил меня жестом и в то время, как я склонился перед ним, очень приветливо добавил:

– Не забудьте навестить советника Шатильона, с которым вы познакомились в пути.

Когда я, направляясь к своему постоялому двору, снова очутился на улице, я начал вспоминать все только что пережитое, и мне стало ясно, что для адмирала я не был незнакомец. У меня не оставалось ни малейших сомнений, кому я был обязан этим. Столь легкое достижение цели, казавшейся мне трудной, было в моих глазах хорошим предзнаменованием, а мысль о предстоящей работе с самим адмиралом давала мне новое ощущение своей ценности, которого я не имел раньше. Все эти радостные мысли, однако, совершенно отступали на второй план перед чем-то, что меня одновременно привлекало и мучило, захватывало и тревожило: перед чем-то бесконечно неопределенным, в чем я не мог дать себе отчет. Наконец, после долгих бесплодных поисков, мне вдруг стало ясно, в чем дело. Это были глаза адмирала, следившие за мной. Почему они преследовали меня? Потому, что это были ее глаза. Никакой отец, никакая мать не могли вернее передать своему ребенку это зеркало души! Меня охватило несказанное смятение. Может ли это быть, чтобы ее глаза были от него? Возможно ли это? Нет, я ошибаюсь. Моя фантазия сыграла со мной скверную шутку. И, чтобы опровергнуть эту увлекающуюся особу при помощи действительности, я решил поспешно вернуться в мою гостиницу, вслед за тем отправиться на остров Святого Людовика и разыскать моих знакомых из «Трех лилий».

Час спустя я входил в узкий и высокий дом парламентского советника, находившийся у самого Святого Михаила и одной стороной выходящий на набережную Сены, а другой – на готические окна маленькой церкви в переулке. Двери первого этажа были заперты. Когда же я поднялся на второй этаж, я неожиданно очутился перед Гаспардой, с чем-то возившейся у открытого ящика.

– Мы вас ждали, – приветствовала она меня, – я провожу вас к дяде, он будет очень рад видеть вас.

Старик сидел, удобно устроившись в кресле и перелистывая большой фолиант, поставленный на приспособленную для этого боковую ручку. Вся большая комната была переполнена книгами, расставленными в дубовых шкафах, украшенных красивой резьбой. Статуэтки, монеты и гравюры, со вкусом расположенные, оживляли это мирное, уютное убежище мыслителя. Ученый старец, не вставая, предложил мне пододвинуть к нему кресло, приветствовал меня как старого знакомого и с видимым удовольствием выслушал повествование о моем поступлении на службу к адмиралу.

– Дай бог, чтобы ему удалось это сделать на сей раз, – сказал он. – Для того чтобы дать нам, протестантам, к сожалению, представляющим меньшинство по сравнению с остальным населением нашей родины, дышать свободно без проклятой гражданской войны, существует два пути, только два: или переселиться за океан, в открытую Колумбом землю, – эту мысль долгие годы лелеял адмирал, и, если бы не представилось неожиданных препятствий, кто знает! – или же воспламенить национальное чувство и начать большую внешнюю, исцеляющую человеческую войну, в которой гугенот и католик, сражаясь бок о бок, объединенные любовью к родине, стали бы братьями и забыли бы про свои религиозные распри. К этому стремится теперь адмирал, а я, миролюбивый человек, не могу дожидаться объявления этой войны. Освобождая Нидерланды от гнета испанцев, наши католики против воли будут вовлечены в поток свободы. Но время не терпит! Верьте мне, Шадау, над Парижем висят тяжелые тучи! Гизы хотят предотвратить эту войну, ибо она сделала бы молодого короля самостоятельным и не нуждающимся в их советах, королева-мать двулична – она, во всяком случае, не ведьма, какой ее считают горячие головы нашей партии, но она ведет неопределенную политику изо дня в день, эгоистично преследуя только интересы своего дома. Она безразлична к славе Франции и, не имея чутья к добру и злу, способна на противоположные решения, и какая-нибудь случайность может определить ее выбор. Она труслива и изменчива, и потому от нее можно ожидать самого худшего! Центр тяжести в том, что молодой король расположен к Колиньи, но этот король... – Здесь Шатильон вздохнул. – Впрочем, я не хочу влиять на ваше собственное суждение. Так как он часто посещает адмирала, вы его увидите своими глазами.

Старик устался в пространство, потом, вдруг меняя тему разговора и открывая заглавный лист фолианта, спросил меня:

– Знаете ли вы, что я читаю? Посмотрите!

Я прочел по-латыни: «География Птолемея, изданная Мигелем Серветом».

– Неужели это сожженный на костре в Женеве еретик? – спросил я, пораженный.

– Он самый. Он был выдающимся ученым, поскольку я могу судить – даже гениальным, и его открытия в области естественных наук принесут потом, быть может, больше пользы, чем его богословские рассуждения. А вы тоже сожгли бы его, если бы заседали в женовской ратуше?

– Конечно, сударь! – ответил я убежденно. – Подумайте только об одном: что было опаснейшим орудием, которым паписты боролись против нашего Кальвина? Они упрекали его в том, что учение его есть отрицание Бога. И вот в Женеву является испанец, называет себя другом Кальвина и издает книги, в которых отрицает Троицу, как если бы это был совершенный пустяк, и злоупотребляет евангелической свободой. Разве Кальвин не был обязан, ради тысяч и тысяч страдавших и проливавших свою кровь за истинное слово Божье, изгнать этого ложного брата перед глазами всего мира из лона евангелической церкви и передать его в руки светского

судьи, для того чтобы его не могли смешивать с нами и чтобы мы невинно не пострадали за чужое безбожие?

Шатильон грустно улыбнулся и сказал:

– Так как вы столь прекрасно обосновали свое суждение о Сервете, вы должны доставить мне удовольствие и провести этот вечер со мной. Я подведу вас к окну, выходящему на часовню Святого Лаврентия, по соседству с которой мы имеем удовольствие жить, где знаменитый францисканец, патер Панигарола, сегодня вечером будет произносить проповедь, тогда вы услышите, как судят о вас. Этот патер силен в логике и к тому же пламенный оратор. Вы не упустите ни одного из его слов – и получите большое удовольствие. Вы пока живете в гостинице? Я должен был позаботиться о постоянном помещении для вас, – что ты посоветуешь, Гаспарда? – обратился он к девушке, только что вошедшей в комнату.

Гаспарда весело ответила:

– Портному Жильберу, нашему собрату по вере, приходится прокармливать многочисленное семейство, и он был бы очень рад и польщен, если бы господин Шадау согласился занять его лучшую комнату. В этом еще то преимущество, что ревностный, но боязливый христианин смог бы под защитой смелого воина вновь отважиться посещать наше евангелическое богослужение. Я сейчас схожу к нему сообщить ему эту радостную весть.

С этими словами стройная девушка исчезла.

Как ни кратко было ее появление, я все-таки успел внимательно всмотреться в ее глаза, и снова меня охватило изумление. Неудержимая сила толкала меня найти разрешение этой загадки; теперь же я лишь с трудом удержал вопрос, который нарушил бы всякое приличие. Но старик сам помог мне, насмешливо спросив:

– Что вы находите особенного в этой девушке, что вы так пристально рассматривали ее?

– Нечто совершенно особенное, – решительно ответил я, – необыкновенное сходство ее глаз с глазами адмирала.

Советник отшатнулся, словно прикоснувшись к змее, и с принужденной улыбкой сказал:

– Разве такая игра природы невозможна, господин Шадау? Разве вы можете воспретить жизни создавать схожие глаза?

– Вы спросили меня, что особенного я нахожу в барышне, – возразил я хладнокровно, – на этот вопрос я вам и ответил. Теперь разрешите и мне задать вопрос. Так как я надеюсь, что и впредь буду иметь дозволение посещать вас и меня привлекает ваше расположение и ясный ум, то позвольте мне узнать, как мне называть эту прекрасную девушку. Я знаю, что ее крестный Колиньи дал ей имя Гаспарда, но вы еще не сказали мне, имею ли я честь говорить с вашей дочерью или с одной из ваших родственниц.

– Называйте ее как хотите! – хмуро ответил старик и снова начал перелистывать географию Птолемея.

Благодаря его странному поведению я окончательно уверился в том, что тут царит какая-то загадка, и начал строить самые смелые предположения. Адмирал опубликовал небольшую статью о защите Сен-Кантена, которую я знал наизусть. Заканчивал он ее довольно неожиданно несколькими таинственными словами, указывавшими на его переход к евангелической вере. В них говорилось о мирской греховности, к которой он, как сам признавался, тоже был склонен. Не имело ли рождение Гаспарды отношения к этому периоду доевангельской жизни? Я всегда строго относился к таким вопросам, но в данном случае мое впечатление было иным, я был далек от мысли осуждать человека за ложный шаг, который открывал мне невероятную возможность приблизиться к родственнице по крови моего лучезарного героя – и, кто знает, быть может, даже посвататься... В то время как я давал волю своему воображению, по моему лицу, вероятно, проскользнула счастливая улыбка, так как старик, украдкой наблюдавший за мной из-за своего фолианта, вдруг обратился ко мне с неожиданным оживлением:

– Если вам, молодой человек, доставляет удовольствие мысль, что вы нашли слабость в великом человеке, то знайте: он безупречен! Вы ошибаетесь! Вы в заблуждении!

Он поднялся, словно расстроенный, и начал шагать взад и вперед по комнате, затем он остановился рядом со мной, схватил меня за руку и, неожиданно меняя тон, сказал:

– Молодой друг, в это тяжелое время, когда мы, протестанты, зависим друг от друга и должны относиться друг к другу как братья, доверие возрастает быстро; между нами не должно быть недосказанного. Вы хороший человек, а Гаспарда – милое дитя; Боже сохрани, чтобы что-нибудь скрытое омрачило ваши встречи. Вы умеете молчать, я в этом уверен; притом же об этом уже идет молва, и вы могли бы узнать обо всем из недоброжелательных уст. Выслушайте же меня!

Гаспарда мне не дочь и не племянница, но она выросла у меня и считается моей родственницей. Ее мать, умершая вскоре после рождения ребенка, была дочерью одного немецкого рейтарского офицера, которого она сопровождала во Францию. Отец Гаспарды, – здесь он понизил голос, – Дандело, младший брат адмирала, удивительная храбрость и ранний конец которого вам небезызвестны. Теперь вы осведомлены. Называйте Гаспарду моей племянницей: я ее люблю как родное дитя. Пускай все это останется между нами, и будьте непринужденны в общении с ней.

Он смолк, и я не прерывал его молчания, потому что вся моя душа была полна услышанным. В это время, очень кстати для нас обоих, нас прервали и позвали ужинать, причем прелестная Гаспарда указала мне место около себя. Когда она передавала мне полный бокал и рука ее коснулась моей, меня охватила дрожь при мысли, что в этих юных жилах течет кровь моего героя. И Гаспарда также почувствовала, что я смотрю на нее другими глазами, чем незадолго до этого, она задумалась, и тень недоумения скользнула по ее лицу, но оно скоро вновь посветлело, когда она весело стала рассказывать мне, как лестно портному Жильберу дать мне приют в своем доме.

– Это важно, – сказала она, – что у вас под рукой будет христианский портной, который сможет изготовить вам платье по строгому гугенотскому покрою. Если крестный Колиньи, который теперь в такой высокой милости у короля, введет вас в придворную жизнь и прелестные фрейлины королевы-матери окружают вас, вы погибли бы, если бы не ваше строгое одеяние, которое удержит их в должных границах.

Во время этого оживленного разговора, при каждом перерыве, мы слышали с улицы то тягучие, то резкие звуки, походившие на отрывки речи, и когда во время случайного молчания целая фраза почти полностью донеслась до наших ушей, Шатильон поднялся с досадой.

– Я покидаю вас! – сказал он. – Жестокий петрушка там, напротив, выгоняет меня.

С этими словами он оставил нас одних.

– Что это значит? – спросил я Гаспарду.

– В церкви Святого Лаврентия, напротив, – сказала она, – читает проповедь патер Панигарола. Из наших окон можно видеть набожную толпу и странного патера. Дядю возмущает его болтовня, на меня нагоняют скуку глупости, которые он говорит, и я перестаю слушать его. Ведь даже в наших протестантских собраниях, где проповедуется одна только истина, мне трудно внимательно дослушивать речь до конца с тем благоговейным вниманием, с которым подобает относиться к священному слову.

Тем временем мы подошли к окну, которое Гаспарда спокойно открыла.

Стояла теплая летняя ночь, и освещенные окна часовни тоже были открыты. В узком просвете, высоко над нами, мерцали звезды. Патер, стоявший на кафедре, молодой бледный францисканский монах, с южными пламенными глазами и судорожной мимикой, вел себя так необыкновенно, что сначала вызвал улыбку на моем лице; однако вскоре его речь, из которой не ускользало от меня ни одного слова, завладела всем моим вниманием.

– Христиане, – призывал он, – что такое терпимость, которой требуют от нас? Есть ли это христианская любовь? Нет, скажу я, трижды нет! Это проклятия достойное безразличие к судьбе наших братьев! Что бы вы сказали о человеке, который, увидев другого спящим на краю пропасти, не разбудил бы и не оттащил бы его? А между тем в данном случае речь идет лишь о жизни и смерти тела. Насколько меньше права имеем мы безжалостно предоставить нашего ближнего своей судьбе, когда речь идет о вечном спасении или вечной гибели! Как? Разве возможно жить рядом с еретиками и не вспоминать, что души их находятся в смертельной опасности? Именно наша любовь к ним заставляет нас призвать их к спасению и, если они упорствуют, принудить к спасению, а если они неисправимы, истребить их, дабы они своим дурным примером не втянули своих детей, соседей и сограждан в огонь вечный! Потому что христианский народ – это тело, о котором сказано: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его! Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и отбрось ее, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, чем все тело твое было ввергнуто в огонь вечный!»

Приблизительно таков был ход мысли патера, но своей страстной риторикой и невоздержными жестами он превращал свою речь в дикое зрелище. Было ли это от заражающего яда фанатизма или от яркого, сверху падающего, света ламп, но лица слушателей приняли такое искаженное и, как мне казалось, кровожадное выражение, что мне вдруг стало ясно, на каком вулкане мы, гугеноты, пребываем в Париже.

Гаспарда присутствовала при этой жуткой сцене почти равнодушно; она устремила свой взгляд на чудную звезду, мягкий свет которой восходил над крышей часовни.

После того как итальянец движением руки, которое, скорее, походило на жест проклятия, чем на благословение, закончил свою речь, народ толпясь начал выходить из двери, по обеим сторонам которой в железные кольца были воткнуты два горящих смоляных факела. Кровавый отблеск освещал выходящих и временами падал на лицо Гаспарды, которая с любопытством смотрела на толпу, в то время как я отодвинулся в тень. Вдруг я заметил, как она побледнела, вслед за этим взор ее возмущенно вспыхнул, и я увидел, как высокий человек в богатой одежде наполовину небрежным, наполовину жадным движением посылал ей поцелуй. Гаспарда задрожала от гнева. Она схватила меня за руку и, притянув к себе, дрожащим от волнения голосом крикнула вниз на улицу:

– Ты оскорбляешь меня, трус, потому что считаешь меня беззащитной! Ты ошибаешься! Здесь стоит тот, кто накажет тебя, если ты посмеешь хоть раз еще взглянуть на меня!

С грубым хохотом кавалер, если не услышав ее речи, то поняв ее выразительную мимику, закинул плащ на плечо и исчез в движущейся толпе.

Гнев Гаспарды разразился потоком слез, и, всхлипывая, она рассказала мне, как этот ничтожный человек, состоявший в свите герцога Анжуйского, брата короля, со дня ее прибытия начал преследовать ее на улице, когда она решила выйти на прогулку, причем даже сопровождавший ее дядя не мог удержать его от нахальных поклонов.

– Я не смею сказать об этом моему дорогому дяде из-за его легко возбудимого и немного боязливого характера. Это его обеспокоило бы, не давая возможности защитить меня. Но вы молоды и владеете шпагой, я и рассчитываю на вас! Этой непристойности должен, во всяком случае, быть положен конец. Теперь до свиданья, мой рыцарь, – добавила она улыбаясь, тогда как слезы еще текли по ее лицу, – и не забудьте пожелать спокойной ночи моему дяде.

Старый слуга осветил мне путь в комнату своего господина, с которым я пришел проститься.

– Что, проповедь окончилась? – спросил советник. – В молодые годы меня позабавили бы эти кривляния, но теперь, особенно после того, как мы последний десяток лет уединенно прожили с Гаспардой в Ниме, где я видел возникавшие во имя Господне смуты и убийства, я не могу видеть толпы вокруг возбужденного попа без опасения, как бы она не предприняла сейчас же чего-нибудь безумного и жестокого. Это бьет мне по нервам.

Когда я вошел в свою комнату на постоялом дворе, я бросился в старое кресло, которое, кроме походной кровати, составляло единственное ее убранство. Впечатления дня продолжали владеть мной, а сердце мое словно горело в огне нежном, но мощном. Башенные часы ближайшего монастыря пробили полночь, моя лампа, в которой выгорело масло, погасла, но в душе моей было светло как днем.

Мне не казалось невозможным завоевать любовь Гаспарды; напротив, казалось, что такова воля судьбы, и ради этого поставить на карту свою жизнь представлялось мне счастьем.

Глава V

На следующее утро в назначенный час я явился к адмиралу и застал его за перелистыванием потерянной записной книжки.

– Это, – начал он, – мои заметки пятьдесят седьмого года, в котором я защищал Сен-Кантен и должен был сдать испанцам. Тут среди имен храбрейших из моих людей помечено крестом имя Шадау; мне кажется, что это был немец. Не ваше ли это имя?

– Да, это имя моего отца! Он имел честь служить под вашим начальством и пасть на ваших глазах!

– В таком случае, – продолжал адмирал, – мое доверие к вам еще более крепнет. Люди, с которыми я долго жил вместе, предавали меня, вам же я доверяю с первого взгляда и думаю, что он меня не обманет.

С этими словами он взял бумагу, сверху донизу исписанную его крупным почерком.

– Перепишите мне это начисто, и если из этого вы узнаете многое, что покажет вам всю опасность нашего положения, то не смущайтесь, – все великое и решительное сопряжено с риском. Садитесь и пишите!

То, что передал адмирал, был меморандум, который он представлял принцу Оранскому. С возрастающим интересом следил я за ходом изложения, с присущей адмиралу ясностью обрисовывавшего положение Франции.

«Вызвать войну с Испанией во что бы то ни стало без малейшего промедления, – писал адмирал, – в этом наше спасение. Альба погиб, если мы одновременно с вами нападем на него. Мой повелитель и король хочет этой войны, но Гизы всеми силами противодействуют этому; разжигаемая ими католическая партия задерживает французскую воинственность, королева-мать, предпочитающая королю герцога Анжуйского, не хочет, чтобы он затмил ее любимца боевыми заслугами, к чему стремится король и мой повелитель. Я, как верноподданный, желал бы, чтобы это ему удалось, и, насколько в моих силах, хотел бы способствовать ему.

Мой план заключается в следующем: отряд добровольцев-гугенотов на этих днях проник во Фландрию. Если он сможет удержаться против Альбы, – а это зависит, главным образом, от того, выступите ли вы одновременно из Голландии против испанского полководца, – тогда этот успех побудит короля побороть все препятствия и решительно пойти вперед. Вы знаете очарование первой удачи».

Я окончил мою работу, когда появился слуга и что-то прошептал адмиралу. Прежде чем он успел подняться со своего кресла, вошел очень молодой человек, стройный, болезненного телосложения, сильно взволнованный, и стремительно встал перед ним со словами:

– Доброе утро, куманек! Что нового? Я уезжаю на несколько дней в Фонтенбло. Есть у вас известия из Фландрии?

Тут я попался ему на глаза, и, указывая на меня, он властно спросил:

– Это кто?

– Мой секретарь, ваше величество; он тотчас же удалится, если угодно вашему величеству.

– Прочь его! – воскликнул молодой король. – Я не хочу, чтобы меня подслушивали, когда я говорю о государственных делах! Разве вы забыли, что мы окружены шпионами? Вы чересчур доверчивы, милый адмирал!

Он бросился в кресло и уставился в пространство; затем, внезапно вскочив, похлопал Колиньи по плечу и, как бы забыв о том, что только что требовал моего удаления, воскликнул:

– Черт побери! В ближайшем будущем мы объявим войну его католическому величеству!

Но прежние мысли, казалось, вновь овладели им, ибо он начал шептать с испуганным видом:

– Вы помните... на днях? Когда мы совещались в моем кабинете, что-то зашуршало за портьерой. Я обнажил шпагу – помните? – и два-три раза кольнул туда! Тогда портьера поднялась, и кто же вышел оттуда? Мой милейший братец, герцог Анжуйский с нижайшим поклоном! – король передразнил его и засмеялся жутким смехом. – А я, – продолжал он, – смерил его взглядом, которого он не смог перенести, так что сейчас же убрался из комнаты.

Его бледное лицо приняло выражение столь бешеной ненависти, что я с испугом уставился на него.

Для Колиньи подобные сцены, вероятно, не представляли ничего необычайного, но присутствие постороннего свидетеля, видимо, было ему неприятно, и он удалил меня жестом.

– Я вижу, вы закончили вашу работу, – сказал он, – до свидания завтра.

По дороге домой меня охватила бесконечная грусть. От этого взбалмошного человека зависело решение всех дел! Откуда могло взяться постоянство мысли, откуда твердость в решениях при такой ребяческой неразвитости, такой метущейся страстности? Разве адмирал мог действовать за него? И кто мог поручиться, что этим смятенным духом через час уже не овладеют другие, враждебные влияния! Я чувствовал, что уверенность была возможна лишь в том случае, если король сознательно будет поддерживать Колиньи; если же он явится для адмирала лишь орудием, то завтра оно уже может быть отнято у него.

Погруженный в эти тяжкие сомнения, я шел своим путем, как вдруг на плечо мне легла рука. Я обернулся и увидел безоблачное лицо моего земляка Боккара, который обнял меня и приветствовал с живой радостью.

– Добро пожаловать в Париж, Шадау! – воскликнул он. – Вы, я вижу, без дела; я в таком же положении, а так как король только что уехал, то вы должны пойти со мной: я покажу вам Лувр. Я живу там, так как мой отряд несет охрану внутренних покоев. Я надеюсь – вам не будет в тягость, – добавил он, увидев, что я не в особенном восторге от его предложения, – пойти рука об руку со швейцарцем из королевской гвардии. Так как ваш божок, Колиньи, желает братского союза партий, то он, наверно, был бы сердечно рад увидеть, как дружен его секретарь с гвардейцем.

– Кто сказал вам... – прервал я его в изумлении...

– Что вы стали секретарем адмирала? – засмеялся Боккар. – Милый друг, при дворе болтают больше, чем нужно! Сегодня утром за игрой в мяч придворные гугеноты толковали о немце, который был обласкан адмиралом, и, по некоторым замечаниям, сделанным по адресу этой личности, я понял, что это, несомненно, мой друг Шадау. Хорошо, что гром и молния загнали вас тогда назад в «Три лилии», иначе мы остались бы чужими друг другу, ибо вряд ли по доброй воле вы пришли бы навестить ваших земляков в Лувре! Сейчас я непременно познакомлю вас с полковником Пфифером.

Это предложение я отклонил, так как мне было известно, что Пфифер не только превосходный вояка, но и фанатический католик. Зато я охотно согласился посмотреть с Боккаром внутренность Лувра, ибо до сих пор я видел это знаменитое сооружение только снаружи.

Мы шли рядом по улицам, и я был очень доволен дружелюбной болтовней жизнерадостного фрибуржца, так как меня она отвлекала от моих тяжелых мыслей.

Вскоре мы вступили во дворец французского короля, в то время состоявший наполовину из мрачного средневекового замка и наполовину из нового прекрасного строения, воздвигнутого по желанию Екатерины Медичи. Это смешение двух эпох усилило у меня впечатление чего-то колеблющегося, несоразмерного, впечатление противоречивых и борющихся друг с другом элементов, которое не покидало меня с той минуты, как я вступил в Париж.

После того как мы прошли по различным переходам и целому ряду комнат, смелые скульптурные украшения и распушенная живопись коих были чужды моему протестантскому

вкусу и даже подчас оскорбляли его, но чрезвычайно развлекали Боккара, он открыл мне дверь в кабинет, говоря:

– Вот комната, где занимается король.

Там царил страшнейший беспорядок. Пол был усеян нотными тетрадами, развернутыми книгами. На стенах висело оружие. На драгоценном мраморном столе лежала валторна.

Я довольствовался тем, что бросил через дверь взгляд на этот хаос; продолжая путь, я спросил Боккара, занимается ли король музыкой.

– Он душераздирающе дудит, – отвечал он, – иногда по целым дням, а иногда, что еще хуже, по целым ночам, если он не стоит здесь рядом, – и он указал на другую дверь, – у наковальни и не кует, так что летят искры. Но теперь и валторна и молот отдыхают. Он держит с молодым Шато-Гюйоном пари, кому из них раньше удастся пропрыгать взад и вперед по комнате, держа одну ногу в зубах. Это отнимает у него невероятно много времени.

Так как Боккар видел, что я опечалился, и так как ему, вероятно, вообще показалось своевременным прекратить разговор о коронованном владыке Франции, то он пригласил меня пообедать с ним в находившейся неподалеку гостинице, которую он очень расхваливал.

Чтобы сократить путь, мы свернули в узкий и длинный переулок. Навстречу нам шли с другой стороны двое мужчин.

– Смотри, – сказал мне Боккар, – вон идет граф Гиш, пресловутый соблазнитель женщин и самый большой забияка при дворе, а рядом с ним, – неужели? – Да ведь это Линьероль! И как он дерзает показываться среди бела дня, он, закономерным судебным решением приговоренный к смерти?

Я взглянул и узнал в более знатном из них того наглеца, который вчера вечером при свете факелов оскорбил Гаспарду дерзким жестом. Приблизившись, он, казалось, тоже узнал меня, ибо взгляд его пристально уставился на меня. Мы занимали половину всей ширины узкого переулочка, оставляя другую половину идущим навстречу для прохода. Боккар и Линьероль шли около стен, а мне и графу надо было вплотную пройти друг мимо друга.

Внезапно я почувствовал толчок и услышал, как граф сказал:

– Дай мне дорогу, проклятый гугенот!

Вне себя я обернулся к нему, а он, смеясь, крикнул мне:

– Ты на улице собираешься пыжиться, как у окошка?

Я хотел броситься за ним, но Боккар обхватил меня и стал заклинать:

– Только не здесь! На нас в одно мгновение набросится парижская чернь, а так как по твоему крахмальному воротнику они узнают в тебе гугенота, ты, несомненно, погибнешь! Само собой разумеется, ты должен получить удовлетворение. Предоставь это дело мне, и я буду рад, если этот знатный господин согласится на честный поединок. Но имя швейцарца не должно быть запятнано, хотя бы вместе с твоей жизнью мне пришлось рискнуть и моей! Теперь, ради всех святых, скажи мне, разве ты знаком с Гишем? Разве ты возбудил его против себя? Но нет, это невозможно! Негодяй просто в плохом настроении и захотел отвести душу на твоём гугенотском одеянии.

Тем временем мы вошли в гостиницу, где поспешно и в расстройстве принялись за наш обед.

– Надо собраться с силами, – сказал Боккар, – ибо мне нелегко будет сладить с графом.

Мы расстались, и я возвратился на мой постоянный двор, обещав Боккару, что буду ожидать его там. Через два часа он вошел в мою комнату.

– Все в порядке! Граф завтра утром на рассвете будет драться с тобой за воротами Сен-Мишель. Он принял меня довольно вежливо, а когда я сказал ему, что ты из хорошего дома, он возразил, что теперь не время исследовать твою родословную и что его интересует теперь только твой клинок.

– А как обстоит дело с этим? – продолжал Боккар. – Я убежден, что ты методичный фехтовальщик, но боюсь, что ты медлителен, в особенности по сравнению с таким юрким дьяволом, как он.

Лицо Боккара приняло озабоченное выражение и, крикнув, чтобы принесли две учебные шпаги, – в первом этаже рядом с моей гостиницей была фехтовальная зала, – он вложил одну из них мне в руку и сказал:

– А ну-ка покажи твое искусство!

После нескольких схваток, проведенных мной в обычном темпе, между тем как Боккар неустанно и тщетно старался подгонять меня криками: «Живее, живее!» – он бросил свою шпагу и отвернулся к окну, чтобы скрыть от меня слезу, появление которой я, однако, уже заметил.

Я подошел к нему и положил ему руку на плечо.

– Боккар, – сказал я, – не огорчайся. Все предопределено. Если мой смертный час назначен на завтра, то не понадобится клинка графа, чтобы перерезать нить моей жизни. Если же нет, то его опасное оружие не сможет причинить мне вреда.

– Не выводи меня из терпения! – возразил он, быстро оборачиваясь ко мне. – Каждая минута, остающаяся в нашем распоряжении, драгоценна и должна быть использована – не фехтованием, в теории ты непогрешим, но твоя флегма, – и он вздохнул, – неизлечима. Есть только одно средство спасти тебя. Обратись с молитвой к нашей Эйнзидельнской Божьей Матери и не возражай мне, что ты протестант, – один раз не в счет! Разве ее не растрогает вдвойне, что один из отступников верит ей свою жизнь? У тебя достаточно времени прочитать много раз «Богородицу» для твоего спасения, и, поверь, милостивая Мать Божья не покинет тебя. Преодолей себя, милый друг, и последуй моему совету.

– Оставь меня в покое, Боккар! – ответил я, раздраженный его странным советом, но все же растроганный его любовью.

Он еще некоторое время тщетно настаивал. Потом мы условились обо всем, что нужно на завтра, и распростились.

В дверях он еще раз обернулся ко мне и сказал:

– Хоть перед сном вспомни о ней, Шадау!

Глава VI

На следующее утро быстрое прикосновение разбудило меня. Боккар стоял у моего ложа. – Вставай! – крикнул он. – Время не терпит, если ты не хочешь опоздать! Я забыл сказать тебе вчера, кого граф выбрал себе секундантом: это Линьероль. Если хочешь, еще лишнее оскорбление! Но в этом то преимущество, что если бы ты, – он вздохнул, – серьезно ранил твоего противника, этот достопочтенный секундант, безусловно, будет помалкивать, ибо у него тысячи достаточных оснований не привлекать к себе общественное внимание.

Одеваясь, я заметил, что мой друг о чем-то хочет попросить меня и с трудом преодолевает это желание.

Я надел мою дорожную куртку, сшитую еще в Берне, по швейцарскому обычаю, с основательными карманами с обеих сторон, и надвинул на лоб свою широкую шляпу, когда Боккар с внезапным порывом обнял меня и, поцеловав, прижался своей кудрявой головой к моей груди. Это чрезмерное участие показалось мне не мужественным, и я успокаивающе отстранил обеими руками благоухающую голову. Мне показалось, что в это мгновение Боккар что-то проделывал с моей курткой, но я не обратил внимания, так как надо было спешить.

Молча мы шли по улицам в утренней тишине, под слегка накрапывавшим дождем, прошли через только что открытые ворота и нашли невдалеке от них сад, окруженный полуразрушенными стенами. Это одинокое место было избрано для поединка.

Мы вошли и увидели Гиша и Линьероля, которые, ожидая нас, расхаживали среди буквых зарослей главной аллеи. Граф приветствовал меня с насмешливой вежливостью. Боккар и Линьероль сошлись, чтобы условиться относительно места и оружия.

– Утро свежо, – сказал граф, – если вы согласны, то будем драться в куртках.

– Панциря нет? – спросил Линьероль, делая рукой нащупывающий жест по направлению к моей груди.

Граф взглядом приказал ему оставить это.

Нам подали две длинные рапиры. Бой начался, и я вскоре заметил, что имею дело с противником, превосходящим меня быстротой и ловкостью и при этом вполне хладнокровным. Испробовав мою силу несколькими легкими ударами, нанесенными как бы в фехтовальной зале, он стал менее небрежным. Начался бой не на жизнь, а на смерть. Он намечал кварту, за которой в ускоренном темпе следовала секунда. Я едва успел отвести удар; если бы он повторил тот же прием немного скорее, я бы погиб.

Следующий удар был нанесен с быстротой молнии, но гибкий клинок сильно согнулся, как бы наткнувшись на твердый предмет; я парировал, нанес ответный удар и пронзил моей шпагой грудь графа, когда тот, чересчур уж уверенный в себе, сделал слишком далекий выпад. Он побледнел, лицо его приняло пепельный оттенок, затем он выронил оружие и рухнул на землю.

Линьероль нагнулся над умирающим, в то время как Боккар увлекал меня отсюда.

Поспешно мы обогнули городскую стену, и около третьих ворот Боккар вошел со мной в маленький известный ему трактирчик. Мы прошли через сени и поместились за домом в густо заросшей беседке. В утренней сырости все еще было мертвенно тихо. Мой приятель потребовал вина, которое принесла заспанная служанка. Он с удовольствием прихлебывал его, в то время как я не притронулся к своему бокалу. Я скрестил руки на груди и опустил голову. Убийство камнем лежало у меня на душе.

Боккар стал уговаривать меня выпить и, когда я в угоду ему осушил бокал, начал:

– Изменят ли теперь некоторые люди свое мнение об Эйнзидельской Божьей Матери?

– Оставь меня в покое! – резко ответил я. – При чем же она тут, если я убил человека?

– Она причастна к этому больше, чем ты думаешь! – отвечал Боккар с легким упреком во взгляде. – Только ей ты обязан тем, что сидишь здесь со мной рядом! Ты должен поставить ей толстую свечу!

Я пожал плечами.

– Неверный! – воскликнул он и с торжеством вытащил из левого кармана моей груди образок, который обычно носил на шее и который сегодня утром во время своего порывистого объятия, вероятно, потихоньку засунул мне в куртку.

С моих глаз словно спала повязка.

Серебряный образок задержал удар, который должен был пронзить мое сердце. Первым моим чувством был гневный стыд, как если бы я поступил нечестно и защитил свою грудь вопреки законам поединка. К этому присоединилось раздражение из-за того, что я был обязан жизнью идолу.

– Лучше бы мне лежать мертвым, – пробормотал я, – чем быть обязанным своим спасением злему суеверию.

Постепенно мысли мои, однако, прояснились. Образ Гаспарды встал в моей душе, а с ней вся полнота жизни. Я был благодарен за вновь подаренный мне солнечный свет, и, когда я снова взглянул в радостные глаза Боккара, я не смог заставить себя спорить с ним, как мне ни хотелось этого. Его суеверие нельзя было одобрить, но его верная дружба спасла мне жизнь.

Я сердечно попрощался с ним и, обгоняя его, поспешил в ворота, направляясь через город к дому адмирала, ожидавшего меня в этот час.

Утро я провел там за письменным столом, просматривая по его приказанию счета, имевшие отношение к вооружению отправленного во Фландрию гугенотского отряда.

Когда адмирал в свободную минуту подошел ко мне, я отважился попросить его послать меня во Фландрию, чтобы я мог принять участие в наступлении и присылать ему быстрые и точные сведения о ходе его.

– Нет, Шадау, – отвечал он, покачав головой – я не могу подвергать вас опасности разделить участь добровольцев и умереть на виселице. Другое дело, если бы вы пали рядом со мной после объявления войны. Я обязан перед вашим отцом не подвергать вас никакой опасности, кроме честной смерти солдата!

Было около полудня, когда приемная стала переполняться более обыкновенного и слышался все более возбужденный разговор.

Адмирал позвал своего зятя Телиньи, который сообщил ему, что сегодня утром граф Гиш пал в поединке и что его секундант, пресловутый Линьероль, велел графской прислуге взять труп у ворот Сен-Мишель и раньше, чем бежать, мог только сообщить, что господин их пал от руки неизвестного ему гугенота.

Колиньи наморщил брови и вспыхнул:

– Разве я не воспретил самым строжайшим образом, разве я не угрожал, не умолял, не заклинал, чтобы ни один из наших не поднимал в это роковое время ссор, которые могут повести к кровавой развязке! Если поединок сам по себе поступок, которым ни один христианин без важных причин не должен отягощать своей совести, то в эти дни, когда одна искра, запавшая в пороховую бочку, может погубить всех нас, он становится преступлением по отношению к нашим братьям по вере и нашей родине.

Я не поднимал глаз с моих счетов и был рад, когда закончил работу. Затем пошел на свой постоянный двор и велел отнести мои пожитки в дом портного Жильбера.

Болезненный человек с боязливым лицом со всякими поклонами провел меня в предназначенную мне комнату. Она была велика и просторна, и так как она находилась в верхнем этаже дома, то оттуда открывался вид на весь квартал, море крыш, среди которых возвышались к облачному небу шпили башен.

– Здесь вы в полной безопасности! – сказал Жильбер тонким голосом, вызвав этим улыбку на моем лице.

– Я очень рад, – отвечал я, – найти приют у брата по вере.

– Брата по вере? – залепетал портной. – Не говорите так громко, господин капитан. Правда, я христианин евангельской веры и, если нельзя будет иначе, тоже готов умереть за моего Спасителя... Но быть сожженным, как Дюбур, на Гревской площади! Я еще маленьким мальчиком был при этом – ух, это слишком ужасно!

– Не бойтесь, – успокаивал я его, – эти времена прошли, а мирный эдикт предоставляет всем нам открыто исповедовать свою веру.

– Дай бог, чтобы это так и осталось, но вы не знаете нашей парижской черни. Это дикий и завистливый народ, и такое уж наше гугенотское счастье – мы раздражаем их. Мы живем укромно, смиренно и честно, и поэтому они упрекают нас, что мы отстраняемся от них из чувства превосходства, но боже праведный! Разве можно соблюдать десять заповедей и не отличаться от них при этом!

Мой новый хозяин покинул меня, и с наступлением сумерек я отправился через улицу к парламентскому советнику. Я нашел его чрезвычайно угнетенным.

– Злой рок тяготеет над нашим делом, – начал он. – Вы уже слышали, Шадау? Знатный придворный, граф Гиш, заколот сегодня утром каким-то гугенотом в поединке. Весь Париж об этом только и говорит, и я думаю, что патер Панигарола не упустит случая указать на всех нас как на шайку убийц и провозгласить своего добродетельного покровителя, – ибо Гиш усердно посещал церковь, – в своих вечерних проповедях, производящих столь большое впечатление, мучеником католицизма... У меня болит голова, Шадау, и я пойду лягу. Пусть Гаспарда угостит вас перед сном.

Во время этого разговора Гаспарда стояла у кресла старика, задумчиво облокотившись на спинку. Она была сегодня очень бледна, и ее большие синие глаза смотрели очень серьезно.

Оставшись одни, мы несколько мгновений молча стояли друг против друга. Во мне зашевелилось тяжелое подозрение, что она, сама призывавшая меня защитить ее, теперь, содрогаясь, отступает перед обгаренным кровью человеком. Спасшие меня странные обстоятельства, о которых я не мог сообщить Гаспарде, чтобы не оскорбить этим кальвинистских чувств, более смущали мою совесть, чем грех убийства, не представлявшего, с точки зрения мужчины, тяжкого проступка. Гаспарда чувствовала, что у меня тяжело на душе, и могла искать причину этого только в убийстве графа и проистекавших от этого невыгодах для нашей партии.

Немного спустя она сказала сдавленным голосом:

– Так это ты убил графа?

– Я, – был мой ответ.

Она снова смолкла. Потом, как бы внезапно приняв решение, она подошла ко мне, обвила меня обеими руками и горячо поцеловала в губы.

– Каково бы ни было твое преступление, – сказала она твердым голосом, – я твоя соучастница. Ради меня ты совершил это. Это я вовлекла тебя в грех. Ты за меня рисковал жизнью. Я бы хотела отплатить тебе за это, но разве я могу?

Я схватил ее за руки и воскликнул:

– Гаспарда, позволь мне быть твоим защитником, каким я был сегодня, и завтра и навсегда! Раздели со мной опасность и спасение, вину и искупление! Будем вместе неразлучно до самой смерти!

– Вместе и неразлучно! – сказала она.

Глава VII

С того рокового дня, когда я убил Гиша и завоевал любовь Гаспарды, прошел месяц. Ежедневно я писал в кабинете адмирала, который, казалось, был доволен моей работой и относился ко мне с возрастающим доверием. Я чувствовал, что близость моих отношений к Гаспарде ему небезызвестна, хотя он ни единым словом не упоминал об этом.

За это время положение протестантов в Париже сильно ухудшилось. Вторжение во Фландрию не удалось, и неблагоприятное впечатление чувствовалось и при дворе, и в общественном мнении. Женитьба короля Наваррского на прелестной, но легкомысленной сестре Карла, вместо того чтобы сблизить партии, увеличила пропасть между ними. Незадолго перед этим Жанна д'Альбре, мать Генриха Наваррского, пользовавшаяся среди гугенотов великим почетом за личные достоинства, внезапно умерла, как говорили, от яда.

В день свадьбы адмирал, вместо того чтобы присутствовать на мессе, размеренными шагами ходил взад и вперед по площади собора Парижской Богоматери и, всегда столь осторожный, обмолвился словом, которое со злейшей враждебностью было использовано против него.

– Собор, – сказал он, – увешан знаменами, отнятыми у нас в гражданской войне, их надо убрать, а на их место повесить более почетные трофеи!

Этим он намекал на испанские знамена, но слова его были истолкованы в превратном смысле.

Колиньи послал меня с поручением в Орлеан, где стояли немецкие рейтары. Когда я возвратился оттуда и вошел в свое жилище, Жильбер с искаженным лицом вышел мне навстречу.

– Слыхали вы уже, господин капитан, – жалобно говорил он, – что адмирал был вчера предательски ранен, когда возвращался из Лувра в свой дворец? Говорят, не смертельно; в его годы, при тех печальных заботах, которые гнетут его, кто знает, чем это кончится! А если он умрет, что будет с нами?

Я поспешно направился в дом адмирала, но меня не приняли. Привратник сказал мне, что прибыли высочайшие посетители, король и королева-мать.

Это успокоило меня, так как в моем простодушии я полагал, что Екатерина не могла принимать участия в этом преступлении, если она сама навещает жертву. Король же, как уверял привратник, вне себя от негодования по поводу предательского покушения на жизнь его маститого друга.

Я отправился назад в дом советника и застал его оживленно беседующим со странной личностью, человеком средних лет, быстрая мимика которого указывала на его происхождение с юга Франции. На нем был орден Святого Михаила. Я никогда не видывал более умных глаз. В них светился разум, а в бесчисленных складках и линиях вокруг глаз и рта беспокойно играл словно целый мир остроумных мыслей.

– Это хорошо, что вы пришли, Шадау! – воскликнул, увидев меня, советник, в то время как я невольно сравнивал невинное лицо Гаспарды, в котором отражалась только чистота простой и сильной души, с умудренным жизнью обликом гостя. – Хорошо, что вы пришли! Господин Монтень хочет увезти меня в свой замок в Перигор...

– Мы там будем читать вместе Горация, – заметил приезжий, – как мы это делали когда-то на водах в Эксе, где я имел удовольствие познакомиться с господином советником.

– Вы полагаете, Монтень, – продолжал советник, – что я могу оставить детей одних! Гаспарда не хочет расстаться со своим крестным, а этот молодой бернец не хочет расстаться с Гаспардой.

– Так что же, – насмешливо поклонился в мою сторону Монтень, – чтобы укрепиться в добродетели, они почитают вместе Книгу Товия! – Затем, увидев мое серьезное лицо, он переменял тон и закончил: – Одним словом, вы поедете со мной, милый советник?

– Разве против нас, гугенотов, замышляется заговор? – спросил я, становясь более внимательным.

– Заговор? – повторил гасконец. – Нет, не то чтобы заговор! Разве такой, какой затевают тучи перед грозой. Четыре пятых нации принуждаются одной пятой к тому, чего они не желают, – то есть к войне во Фландрии, – это, конечно, должно внести в атмосферу известное напряжение. И не посетуйте на меня, молодой человек, вы, гугеноты, нарушаете первое правило жизненной мудрости: народ, среди которого живешь, нельзя оскорблять пренебрежением к его обычаям.

– Разве вы относите религию тоже к обычаям народа? – возмущенно спросил я.

– В известном смысле да, – сказал он, – но на этот раз я подразумевал только обычаи каждодневного обихода: вы, гугеноты, одеваетесь мрачно, делаете серьезные лица, не понимаете шуток, вы так же накрахмалены, как ваши воротнички. Одним словом, вы обособляетесь, а это влечет за собой наказание, как в большом городе, так и в самой маленькой деревне! Гизы лучше понимают жизнь! Только что я проходил и видел, как герцог Генрих слезал с лошади у своего дворца и пожимал стоявшим вокруг гражданам руки, веселый, как француз, и добродушный, как немец. Вот это правильно! Все мы рождены женщиной, а мыло стоит недорого!

Мне показалось, что за этим шутливым тоном гасконец скрывает тяжелые опасения, и я хотел продолжать свои расспросы, когда старый слуга доложил о приходе гонца от адмирала, который немедленно требовал к себе меня и Гаспарду. Гаспарда накинула густую вуаль, и мы поспешили.

По дороге она рассказала мне, что пережила в мое отсутствие.

– Ехать рядом с тобой под градом пуль по сравнению с этим было бы шуткой, – уверяла она. – Чернь на нашей улице так озлобилась, что я не могу выйти из дому, чтобы меня не начали преследовать ругательствами. Если я одевалась сообразно моему положению, мне вслед кричали: «Смотри, какая высокомерная!» А когда я одевалась скромно, кричали: «Смотри, какая ханжа!» День или неделю это можно вытерпеть, но ведь не видно конца! Наше положение в Париже напоминает мне положение одного итальянца, которого враг сверг в темницу с четырьмя маленькими окошечками. Проснувшись на следующее утро, он увидел только три окна, затем два, на третий день одно, и, наконец, понял, что адский враг запер его в помещение, понемногу превращавшееся в давящий гроб.

Так, беседуя, мы пришли в дом адмирала, который сейчас же допустил нас к себе.

Он сидел на своем ложе, причем раненая левая рука его была на перевязи, и он имел бледный и усталый вид. Рядом с ним стоял священник с седой бородой. Он не дал нам сказать слова.

– Часы мои сочтены, – сказал он, – выслушайте меня и повинуйтесь мне! Ты, Гаспарда, по моему дорогому брату приходишься мне кровной родней. Теперь не время скрывать то, что тебе известно и что не должно остаться тайной вот для него. Твоей матери было причинено зло французом; я не хочу, чтобы и ты поплатилась за грехи нашего народа. Мы должны искупить вину наших отцов. Ты же, насколько это зависит от меня, будешь вести благочестивую и спокойную жизнь в немецкой земле.

Он продолжал, обратившись ко мне:

– Шадау, вам не придется пройти военную школу под моим руководством. Здесь все мрачно. Жизнь моя идет к концу, а моя смерть – начало гражданской войны. Не принимайте в ней участия, я запрещаю вам это. Дайте руку Гаспарде, я даю вам ее в жены. Без промедления поезжайте на родину. Покиньте эту злосчастную Францию, как только узнаете о моей смерти.

Устройте ее в Швейцарии, а потом сами поступайте на службу к принцу Оранскому и сражайтесь за правое дело!

Он подозвал старца и предложил ему повенчать нас.

– Только поскорее, – прошептал он, – я устал и нуждаюсь в отдыхе.

Мы стали на колени у его ложа, и священник совершил обряд венчания, соединив наши руки и произнося слова обряда на память.

Потом адмирал тоже благословил нас своей изуродованной рукой.

– Прощайте! – закончил он, лег и повернулся лицом к стене.

Так как мы медлили покинуть комнату, то мы еще услышали ровное дыхание спокойно уснувшего больного.

Молча, в необычайном настроении возвратились мы домой и застали Шатильона все еще за оживленной беседой с господином Монтенем.

– Дело выиграно! – ликовал последний. – Папаша соглашается, и я сам уложу его вещи, так как я делаю это превосходно.

– Поезжайте, милый дядя, – сказала Гаспарда, – не заботьтесь обо мне. Отныне это дело моего мужа. – И она прижала мою руку к груди. Я тоже настаивал, чтобы советник уехал с Монтенем.

Внезапно, в то время как все мы уговаривали его и полагали, что он согласится, он спросил:

– А адмирал покинул Париж?

И когда он услышал, что Колиньи остался и останется, несмотря на увещания близких, даже если его здоровье позволит ему уехать, он, с блеском в глазах, воскликнул твердым голосом, какого я не замечал за ним раньше:

– Ну, так и я останусь! Я часто бывал в жизни трусом и эгоистом; я не всегда заступался, как должно, за моих братьев по вере, но в этот последний раз я не покину их.

Монтень прикусил губу. Все наши увещания оказались бесполезными, старик остался при своем решении.

Гасконец похлопал его по плечу и сказал с легкой усмешкой:

– Старина, ты обманываешь самого себя, если думаешь, что действуешь из геройства. Ты делаешь это ради твоего удобства. Ты слишком обленился, чтобы покинуть твое уютное гнездо, даже в том случае, если гроза завтра разнесет его. Это тоже своего рода точка зрения, и ты по-своему прав.

Затем насмешливое выражение его лица сменилось глубоко горестным, он обнял Шатильона, поцеловал его и поспешил проститься.

Советник, странно взволнованный, пожелал остаться один.

– Оставьте меня, Шадау, – сказал он, пожимая мне руку, – а сегодня вечером, перед сном, зайдите еще раз.

Сопровождавшая меня Гаспарда в дверях внезапно выхватила у меня дорожный пистолет, еще торчавший у меня за поясом.

– Оставь лучше, – предостерег я, – он заряжен.

– Нет, – засмеялась она, закидывая голову, – я оставлю его как залог того, что сегодня вечером ты не опоздаешь к нам!

И она скрылась с ним в дом.

Глава VIII

В моей комнате лежало письмо от моего дяди на бумаге его обычного формата, написанное его знакомым старомодным почерком. Красный оттиск печати с его девизом: «Pelerin et Voyageur»¹ на этот раз вышел чрезмерно большим.

Я еще держал это послание неоткрытым в руке, когда в комнату, не постучав, ворвался Боккар.

– Разве ты забыл твое обещание, Шадау? – крикнул он мне.

– Какое обещание? – хмуро спросил я.

– Прекрасно! – сказал он с коротким и каким-то искусственным смехом. – Если так пойдет дальше, то ты скоро забудешь твое собственное имя! Накануне твоего отъезда в Орлеан в трактире «Мавр» ты торжественно поклялся мне, что сдержишь обещание и наведишь нашего земляка, капитана Пффифера. Я тогда, по его поручению, пригласил тебя к нему в Лувр, на именины. Сегодня день святого Варфоломея. Правда, у капитана много имен – восемь или десять, но так как среди всех Варфоломей с содранной кожей в его глазах наибольший святой и мученик, то он, как добрый христианин, особенно празднует этот день. Если ты не придешь, он истолкует это как гугенотское упрямство.

Я припомнил, что Боккар часто приставал ко мне с такими приглашениями, но я всегда откладывал посещение с неделю на неделю. Что я принял приглашение на сегодня, мне не помнилось, но это было возможно.

– Боккар, – сказал я, – сегодня мне неудобно. Извинись за меня перед Пффифером и оставь меня дома.

Но он самым странным образом начал уговаривать меня, то шутя и приводя ребяческие доводы, то умоляя и заклиная. В конце концов он вспылил:

– Что же, так-то ты держишь честное слово?

И так как я не был уверен, что не дал ему своего слова, то я не смог перенести этого упрека и наконец со страшной неохотой согласился сопровождать его. Я торговался, пока он не обещал, что через час отпустит меня, и мы отправились в Лувр.

Париж был спокоен. Мы встречали только отдельные группы горожан, шептавшихся о здоровье адмирала.

Пффифер занимал комнату в первом этаже на большом дворе Лувра. Я изумился, увидев, что его окна были лишь скудно освещены и что вместо веселого праздничного шума стояла гробовая тишина. Когда мы вошли, капитан стоял один посреди комнаты, вооруженный с головы до ног, углубившись в депешу, которую он читал или даже разбирал по слогам, ибо он водил по строчкам указательным пальцем левой руки. Он заметил меня и, подойдя, резко сказал:

– Вашу шпагу, молодой человек! Вы мой пленник.

Одновременно приблизились два швейцарца, до тех пор стоявшие в тени. Я отступил на шаг.

– Кто дает вам право распоряжаться мной, господин капитан? – воскликнул я. – Я секретарь адмирала.

Не устаивая меня ответом, он собственными руками схватил мою шпагу и завладел ею. Неожиданность настолько смутила меня, что я даже не думал о сопротивлении.

– Исполните свой долг! – приказал Пффифер.

¹ «Паломник и странник» (фр.).

Швейцарцы встали по обе стороны, и я, безоружный, последовал за ними, бросив взгляд, полный яростных упреков, на Боккара. Я не мог объяснить себе все это иначе, как тем, что Пффифер получил предписание от короля арестовать меня за поединок с Гишем.

К моему изумлению, меня провели только несколько шагов к хорошо известной мне комнате Боккара.

Солдату второпях, видимо, был вручен не тот ключ, и он послал своего товарища к Боккару, оставшемуся у Пффифера, чтобы просить настоящий.

В эти краткие мгновения я, прислушавшись, услышал суровый ворчливый голос капитана:

– Из-за вашей дерзкой проделки я могу потерять место. В эту чертовскую ночь нас едва ли кто-нибудь потребует к ответу, но как мы поведем завтра еретика из Лувра?

– Да простят мне святые, что я спасаю гугенота, но мы не можем позволить, чтобы эти проклятые французы прирезали земляка и гражданина Берна, в этом вы, конечно, правы, Боккар...

Дверь открылась, я очутился в темном помещении, затем за мной был повернут ключ и задвинут тяжелый засов.

Мучимый своими мыслями, я зашагал взад и вперед по хорошо известной мне из прежних посещений комнате, в то время как загороженное железными решетками, высоко расположенное окно постепенно начало освещаться всходящей луной. Как я ни перебирал в уме все обстоятельства дела, единственной правдоподобной причиной моего ареста мог быть только поединок. Правда, последние раздраженные слова Пффифера мне были непонятны, но я мог ослышаться, или же храбрый капитан мог быть навеселе. Еще непонятнее, более того – возмутительнее, казалось мне поведение Боккара, от которого я никогда не ожидал такого низкого предательства.

Чем дальше я раздумывал, тем более я запутывался в беспокойных сомнениях и неразрешимых противоречиях.

Неужели против гугенотов действительно готовят кровавый замысел! Неужто король, если он не сошел с ума, мог согласиться на уничтожении партии, гибель которой должна сделать его безвольным рабом его честолюбивой родни из Лотарингии?

Или готовится новое покушение на адмирала, и хотели удалить одного из его верных слуг? Но я казался себе слишком незначительным, чтобы могли обратить внимание прежде всего на меня. Король сильно разгневался по поводу ранения адмирала. Разве мог человек, обладая здравым рассудком, в несколько часов перейти от теплой привязанности к тупому безразличию или дикой ненависти?

В то время как я ломал себе над этим голову, сердце мое кричало, что жена моя сейчас поджидает меня, считает минуты, а я заперт здесь и не могу известить ее.

Я все еще ходил взад и вперед, когда начали бить башенные часы Лувра; я сосчитал двенадцать ударов. Была полночь. Мне пришлось в голову пододвинуть к высокому окну стул, подняться до ниши, открыть его и, ухватившись за железные прутья, выглянуть в ночную темноту. Окно выходило на Сену. Все было тихо. Я уже собирался соскочить обратно в комнату, когда устремил взгляд наверх и оцепенел от ужаса.

По правую руку от меня, на балконе второго этажа, так близко, что я почти мог дотронуться до них рукой, я увидел три ярко озаренные лунным светом фигуры, которые, перегнувшись через перила, к чему-то безмолвно прислушивались. Ближе других ко мне стоял король: страх, бешенство и безумие исказили до выражения какой-то адской злобы его не лишённые благородства черты. Никакое горячее сновидение не могло быть ужаснее этой действительности. Теперь, описывая давно минувшее, я вновь вижу духовными очами перед собой этого несчастного – и содрогаюсь. Рядом с ним стоял, прислонившись, его брат, герцог Анжуйский, с дряблым, полным бабьей жестокости личиком, дрожа от страха. Сзади них, бледная и недвиж-

ная, но наиболее спокойная, стояла Екатерина Медичи с полужакрытыми глазами и почти равнодушным видом.

Но вот король, как бы мучимый угрызениями совести, сделал судорожное движение, словно хотел отменить отданное приказание, и в то же мгновение раздался выстрел, как мне казалось, во дворе Лувра.

– Наконец-то, – прошептала с облегчением королева, и все три ночные тени скрылись с балкона.

Вблизи зазвонил тревогу колокол, за ним – другой, с гулом присоединился третий: вспыхнул резкий свет факелов, как зарево пожара, затрещали выстрелы, и моему напряженному воображению стало казаться – это слышны предсмертные стоны.

Адмирал убит, я не мог более сомневаться в этом. Но что означает набат, выстрелы, сначала одинокие, потом все более и более частые, кровожадные крики, теперь издали доходившие до моего настороженного уха? Неужели случилось неслыханное? Неужели избивают всех гугенотов в Париже?

А Гаспарда, моя Гаспарда, вверенная мне адмиралом, отдана в жертву всему этому ужасу вместе с беззащитным стариком. Мои волосы становились дыбом, кровь стыла в жилах. Я изо всех сил начал трясти дверь, но железные замки и тяжелый дуб не поддавались. Ощупью я начал искать орудие или инструмент, чтобы взломать ее, но не мог найти ничего. Я бил кулаками, стучал в дверь ногами, кричал, умолял освободить меня, но коридор оставался по-прежнему погруженным в мертвую тишину.

Еще раз я забрался в нишу окна и в полном отчаянии стал трясти железную решетку, но не было возможности сокрушить ее.

Горячечный озноб охватил меня, и зубы мои застучали. Близкий к безумию, я бросился на ложе Боккара и стал метаться в смертельной тревоге. Наконец, когда забрезжило утро, я впал в состояние между сном и бодрствованием, которое невозможно описать. Мне казалось, что я все еще цепляюсь за железные прутья и гляжу на неустанно текущую Сену. И вот наконец из волн ее поднялась полуобнаженная, озаренная светом месяца женщина, речная богиня, опирающаяся на урну, из которой струилась вода, вроде тех, которые сидят на фонтанах в Фонтенбло, и заговорила: но слова ее были обращены не ко мне, а к каменной женщине, невдалеке от меня поддерживавшей балкон, на котором стояли три царственных заговорщика.

– Сестра, – спросила она из реки, – не знаешь ли ты, почему они избивают друг друга? Труп за трупом бросают они на мое струящееся лоно, и вся я испачкана кровью. Фу-фу! Быть может, бедняки, которые по вечерам, как я видела, моют в моей воде свои лохмотья, собрались покончить с богатыми?

– Нет, – зашептала каменная женщина, – они убивают друг друга, потому что не могут никак согласиться, какая дорога ведет к блаженству. – И ее холодный лик исказился насмешкой, как если бы она смеялась над чудовищной глупостью.

В это мгновение заскрипела дверь, я очнулся из своего полузабытья и увидел Боккара, бледного, мрачного, каким я еще никогда не видал его, а за ним – двоих из его людей, из которых один нес хлеб и кружку пива.

– Ради бога, Боккар, – воскликнул я и бросился ему навстречу, – что произошло сегодня ночью?.. Говори!

Он взял мою руку и хотел сесть ко мне на постель. Я стал сопротивляться и заклинал его говорить.

– Успокойся, – сказал он. – Это была недобрая ночь. Мы, швейцарцы, неповинны в этом, так повелел король.

– Адмирал погиб? – спросил я, пристально глядя на него.

Он утвердительно кивнул головой.

– А остальные вожди гугенотов?

– Убиты. Кроме тех немногих, которые, как Генрих Наваррский, пощажены по особой милости короля.

– Окончено избиение?

– Нет, толпа еще бушует по улицам Парижа. Ни один гугенот не должен остаться в живых. Мысль о Гаспарде, как палящая молния, сверкнула в моем мозгу, и все остальное исчезло во мраке.

– Пусти меня! – вскричал я. – Моя жена, моя несчастная жена!

Боккар изумленно и вопросительно взглянул на меня:

– Твоя жена? Да разве ты женат?

– Дорогу, несчастный, – воскликнул я и бросился на него, так как он заступил мне выход. Мы начали бороться, и я бы справился с ним, если бы один из его швейцарцев не бросился к нему на подмогу, в то время как другой охранял выход.

В борьбе я упал на колени.

– Боккар! – застонал я. – Во имя Господа милосердного, заклинаю тебя всем, что дорого тебе... заклинаю тебя жизнью твоего отца... блаженством твоей матери... сжалься надо мной и выпусти меня! Я же говорю тебе, что там моя жена... что ее в это время, быть может, убивают, что ее... быть может, в это мгновение истязают! О! – И я стал ударять себя кулаком по лбу.

Боккар возразил успокаивающе, как говорят с больным:

– Ты не в своем уме, бедный друг! На свободе ты не пройдешь и пяти шагов, чтобы тебя не сразила пуля! Всякий знает, что ты – секретарь адмирала. Образумься. Ты требуешь невозможного.

Стоя на коленях, как утопающий, я поднял глаза, ища спасения, в то время как Боккар молча связывал порвавшийся в борьбе шелковый шнур, на котором низко свешивался серебряный образок мадонны.

– Во имя Божьей Матери Эйнзидельнской! – умолял я, сложив руки.

Боккар стоял как зачарованный, устремив кверху взор и как будто шепча молитву. Затем он прикоснулся губами к образку и бережно снова спрятал его в куртку.

Мы все еще молчали, когда вошел молодой офицер, держа в руках депешу.

– Именем короля и по приказанию капитана, – сказал он, – возьмите двоих из ваших людей, господин Боккар, и собственноручно доставьте этот приказ коменданту Бастилии.

Офицер вышел, Боккар, после минутного раздумья, бросился ко мне с приказом в руках.

– Скорей, поменяйся платьем, вот, с Каттани! – шептал он. – Я попытаюсь. Где она живет?

– На острове Святого Людовика.

– Хорошо. Подкрепись вином, тебе нужны силы.

Поспешно сняв свое платье, я надел мундир королевского швейцарца, опоясался шпагой, схватил алебарду, и все мы вместе, Боккар, я и второй швейцарец, бросились на улицу.

Глава IX

Уже во дворе Лувра моим глазам предстало страшное зрелище. Там лежали грудой друг на друге только что убитые гугеноты из свиты короля Наваррского, многие из них еще хрипели. Спеша вдоль Сены, мы далее на каждом шагу встречали ужасные картины. Здесь лежал в своей крови несчастный старик с раскроенным черепом, там смертельно бледная женщина билась в руках грубого ландскнехта.

В одном переулке стояла могильная тишина, из другого раздавались крики о помощи и хриплые предсмертные стоны.

Я же, равнодушный к этим крикам и невыразимым страданиям, в совершенном отчаянии бежал вперед, так что Боккар и швейцарец еле поспевали за мной. Наконец, мы достигли моста и перешли через него. Я бросился бегом к дому советника, не спуская глаз с его высоко расположенных окон. У одного из них я видел размахивающие в борьбе руки: оттуда вытаскивали седовласую голову. Несчастный – это был Шатильон – еще мгновение цеплялся слабыми руками за карниз, затем выпустил его и рухнул на мостовую. Я пробежал мимо разбившегося насмерть старика, в несколько прыжков вбежал по лестнице и бросился в комнату. Она была наполнена вооруженными людьми, а из открытой двери библиотеки доносился дикий шум. Я проложил себе дорогу алебардой и увидел Гаспарду, загнанную в угол, окруженную похотливой, ревушей сворой. Она удерживала ее на расстоянии, прицеливаясь из моего пистолета то в одного, то в другого. Она была бледна, как восковое изваяние, и в широко открытых голубых глазах ее сверкало страшное пламя.

С одного натиска растолкав всех перед собой, я очутился рядом с ней, воскликнув: «Слава богу, это ты!» – И она без чувств упала в мои объятия.

Тем временем Боккар со швейцарцем ворвались за нами.

– Эй вы! – пригрозил он. – Именем короля, я воспрещаю вам коснуться этой дамы хотя бы пальцем! Назад, кому дорога жизнь! Мне приказано доставить ее в Лувр!

Он стоял рядом со мной, и я уложил потерявшую сознание Гаспарду в кресло советника.

Тогда из толпы выскочил отвратительный субъект с окровавленными руками и испачканным кровью лицом, в котором я узнал осужденного Линьероля.

– Ложь и обман! – кричал он. – Разве это швейцарцы? Это переодетые гугеноты самого опасного сорта. Вот этот – я хорошо знаю тебя, неуклюжий негодяй, – убил набожного графа Гиша, а тот помогал ему. Бейте их! Великая заслуга истребить этих преступных еретиков. Но девчонки не трогать, она моя!

И с бешенством изверг ринулся на меня!

– Злодей! – крикнул Боккар. – Твой час пробил. Коли, Шадау!

Ловким движением он отбил вверх преступный кинжал, и я вонзил мою шпагу по рукоять в грудь негодяю. Он упал.

Толпа подняла бешеный вой.

– Прочь отсюда! – крикнул мне мой друг. – Бери жену на руки и следуй за мной!

Боккар и швейцарец, ударяя и коля, напали на сброд, отделявший нас от двери, и проложили путь, по которому я поспешно следовал за ними, неся Гаспарду.

Мы благополучно спустились по лестнице и вышли на улицу. Не успели мы отойти десяти шагов, как из окна грянул выстрел. Боккар пошатнулся, неверной рукой стал нащупывать на груди образок, выхватил его, прижал к бледневшим губам и упал.

Пуля попала в висок. Первый взгляд убедил меня, что я навсегда утратил его; второй, устремленной в окно, – что смерть настигла его из моего же, выпавшего из рук Гаспарды пистолета, которым теперь, ликуя, потрясал убийца. Гнусная банда следовала за нами по пятам, и с сердцем, обливающимся кровью, я покинул друга, над которым нагнулся его верный солдат,

завернул за ближайший угол, в боковой переулок, где было мое жилище, достиг его незамеченным и по вымершему дому взбежал с Гаспардой наверх в мою комнату.

У дверей на первом этаже мне пришлось пройти через большие лужи крови. Портной лежал убитым, его жена и его четверо детей, кучкой свалившись у очага, спали сном смерти. Даже маленький пудель, любимец дома, убитый, лежал рядом с ними. Запах крови наполнял дом. Поднявшись по последней лестнице, я увидел, что моя комната открыта, ветер хлопал полуразбитой дверью.

Убийцы, найдя мое ложе пустым, не долго пробыли там, бедная обстановка моей комнаты не обещала им добычи. Несколько книг, бывших у меня, разорванными валялись на полу, в одну из них я спрятал письмо дяди, когда меня застал Боккар; оно выпало оттуда, и я взял его. Всю мою наличность я еще с путешествия носил на себе в поясе.

Я уложил Гаспарду на постель, где она, бледная, казалось, дремала, и, стоя рядом с ней, размышлял, что предпринять. Она была одета невзрачно, в платье служанки, вероятно, потому, что хотела бежать вместе со своим приемным отцом. Я был в мундире швейцарской гвардии.

Дикое отчаяние охватило меня при мысли о преступно пролитой дорогой и невинной крови.

– Прочь из этого ада! – вполголоса сказал я про себя.

– Да-да, прочь из этого ада! – повторила Гаспарда, открывая глаза и приподнимаясь на ложе. – Мы не можем оставаться здесь. Бежим через первые же ближайшие ворота.

– Подожди, – возразил я. – Тем временем настанет вечер, и сумерки, быть может, облегчат нам бегство.

– Нет, нет, – решительно сказала она, – ни мгновения я не останусь в этой луже! Что нам до жизни, если мы можем умереть вместе!.. Пойдем прямо к ближайшим воротам. Если на нас нападут и захотят оскорбить меня, ты заколешь меня и убьешь двух или трех из них, тогда мы, по крайней мере, не умрем неотомщенными. Обещай мне это.

Немного подумав, я согласился, так как и мне казалось лучше во что бы то ни стало положить конец беде. Убийства могли вновь начаться, а ворота по ночам охранялись тщательнее, чем днем.

Мы отправились в путь, медленно идя рядом по пропитанным кровью улицам, под синим безоблачным небом.

Беспрепятственно мы достигли ворот.

Под воротами, перед дверью в помещение караула, стоял, скрестив на груди руки, лотарингский воин с повязкой Гизов, устремивший на нас свой острый взгляд.

– Странные птички, – засмеялся он. – Куда направляетесь, господин швейцарец, с вашей сестричкой?

Нашупывая рукоять моего меча, я подходил, решив пронзить ему грудь, ибо я устал жить и устал лгать.

– Клянусь рогами сатаны! Вы ли это, господин Шадау? – сказал лотарингский капитан, при последнем слове понижая голос. – Войдите, здесь вам никто не помешает.

Я взглянул ему в лицо, стараясь вспомнить его. В памяти моей всплыл образ богемца, моего бывшего учителя фехтования.

– Да-да, это я, – продолжал он, прочитав по моим глазам мои мысли, – и, как мне кажется, я здесь кстати.

С этими словами он увлек меня в комнату, и Гаспарда последовала за нами.

В душном помещении на скамье лежали два пьяных солдата, игральные кости и стакан валялись рядом с ними на полу.

– Вставайте, собаки! – рявкнул на них капитан.

Один с усилием поднялся. Капитан схватил его за руку и вытолкнул за дверь, говоря:

– На смену, негодяй! Ответишь жизнью, если кто-нибудь пройдет!

Другого, только издавшего хрюкающий звук, он сбросил со скамьи и ногой толкнул под нее, где тот продолжал свой мирный храп.

– Будьте любезны, господа, присядьте! – И жестом любезного кавалера он указал на грязное сиденье.

Мы сели, он придвинул сломанный стул, сел на него верхом и, облокотившись локтями на спинку, начал развязным тоном:

– Теперь поболтаем! Мне ясно, в чем дело. Вам нечего объяснять мне. Вы хотите пропуск в Швейцарию, не так ли? Я почитаю для себя честью отплатить вам услугой за любезность, с которой вы в свое время показали мне вюртембергскую печать, зная, что я знаток этих дел. Рука руку моет. Печать за печать. Теперь я могу помочь вам ею.

Он пошарил в бумажнике и вытащил несколько бумаг.

– Видите, как человек осторожный, я на всякий случай попросил милостивейшего герцога Генриха выдать мне и моим людям, нанесшим вчера визит адмиралу, нужные для проезда бумаги. Предприятие могло оказаться неудачным. Но святые смилоствовали над добрым городом Парижем. Один из пропусков – вот он – выдан на имя отставного королевского швейцарца, Фурьера Коха. Возьмите его, он даст вам возможность свободно проехать через Лотарингию до швейцарской границы. Это, стало быть, в порядке. Что же касается дальнейшего пути с вашей красоткой, с которой я без лести вас поздравляю, – и он поклонился Гаспарде, – то прекрасная дама вряд ли хороший пешеход. Я могу уступить вам поэтому двух кляч, одну даже с дамским седлом, ибо я сам любим и катаюсь обыкновенно вдвоем. Вы мне дадите за это сорок золотых гульденов наличными, если у вас есть при себе столько, в противном случае я поверю вам на честное слово. Они, правда, немного загнаны, ибо мы сломя голову мчались по приказу в Париж, но до границы они еще продержатся.

Он крикнул в окошечко конюшенного мальчика, бродившего у ворот, и приказал ему спешно седлать.

В то время как я отсчитывал ему на скамье деньги, почти всю мою наличность, богемец сказал:

– Я с удовольствием слышал, что вы оказались достойным своего учителя фехтования. Мой друг Линьероль все рассказал мне. Он не знал вашего имени, но по его описанию я сразу узнал вас. Так вы закололи Гиша? Черт возьми, это не пустяки. Я никогда не ожидал от вас такой прыти. Правда, Линьероль думает, что вы немножко защитили себе грудь панцирем. Это на вас непохоже, но, в конце концов, каждый спасает себя как может.

Гаспарда сидела при этом разговоре безмолвная и бледная. Лошадей привели, богемец, от прикосновения которого она вздрогнула, по всем правилам искусства помог ей сесть в седло, я вскочил на другого коня, капитан поклонился нам, и, спасенные, мы помчались с гулким топотом под ворота и по грязному мосту.

Глава X

Две недели спустя в свежее осеннее утро я поднимался с моей молодой женой на последнюю возвышенность горного кряжа, отделяющего Франш-Конте от Невшательской области. Поднявшись на хребет, мы пустили наших лошадей на траву, а сами сели на скалу.

Перед нашими глазами открывался широкий мирный вид, залитый утренним солнцем. У наших ног светились озера Невшательское, Муртенское и Бильское; вдали тянулась свежая зелень возвышенности Фрибурга с красивыми линиями холмов и темной каймой лесов; задний план представляли только что начавшие очищаться от облаков вершины гор.

– Так эта прекрасная страна – твоя родина и наконец-то земля евангелическая? – спросила Гаспарда.

Я показал ей сверкающую слева на солнце башенку замка Шомон.

– Там живет мой добрый дядя. Несколько часов еще, и он примет тебя в свои объятия как любимое дитя! Здесь внизу, у озер, евангелическая страна, а там, где ты сможешь различить вдали шпили башен Фрибурга, там католики.

Когда я назвал Фрибург, Гаспарда задумалась.

– Родина Боккара! – сказала она. – Ты помнишь, как весел он был в тот вечер, когда мы в первый раз встретились в Мелене? Теперь его отец напрасно будет ждать его, он умер за меня.

Тяжелые слезы скатились с ее ресниц.

Я ничего не ответил, но с быстротой молнии перед моим взором промелькнуло роковое сплетение моей судьбы с судьбой моего веселого земляка и в моих мыслях обвинение и оправдание следовали одно за другим.

Невольно я схватился за грудь в том месте, где образок Боккара охранил меня от смертельного удара.

В моей куртке зашуршало что-то вроде бумаги; я вытащил забытое, еще не прочитанное письмо дяди и сломал бесформенную печать. То, что я прочел, повергло меня в горестное уныние. В письме было сказано:

«Милый Ганс!

Когда ты будешь читать эти строки, я уже уйду из жизни или, скорее, войду в жизнь.

Уже несколько дней я чувствую себя очень слабым, хотя нисколько не болен. В тишине снимаю обувь паломника и откладываю в сторону посох странника. Так как я еще могу держать перо, то я сам хочу поведать тебе о моем возвращении на родину и собственноручно напишу адрес на письме, чтобы тебя не огорчил чужой почерк. Когда я уйду, старый Иохем, по моему приказанию, поставит около моего имени крест и запечатает письмо. Красной, не черной печатью. И не надевай по мне траура, ибо я в радости. Оставляю тебе мое земное достояние. Ты же не забывай о небесном.

Твой верный дядя Ренат».

Рядом неуклюжей рукой был намалеван большой крест. Я отвернулся и дал волю слезам. Затем я поднял голову и обратился к стоявшей рядом со мной со сложенными руками Гаспарде, чтобы ввести ее в опустелый дом моей юности.

Святой



Предисловие

Перед тем как прочесть данную повесть, читателю следует хотя бы кратко познакомиться с эпохой, которая создавала столь необузданных людей, каким был король Генрих II, и людей такого железного мужества, как архиепископ Фома Бекет.

Начиная с VIII века современные нам маленькие государства скудного дарами природы Скандинавского полуострова – Швеция, Норвегия и родственная им Дания – разбрасывали избыток своего населения во все стороны мира. Младшие сыновья земельной знати и зажиточных крестьян не могли рассчитывать на наследство отцов и считали унижительным для себя тяжелый труд крестьянина на бесплодной земле. Являясь лишними в своем отечестве, они становились под начальство наиболее знатных, опытных или смелых людей и небольшими отрядами на легких судах уходили морем на поиски богатства и воинской славы.

Их вожди назывались конунгами. Это то же слово, что немецкое «кениг», английское «кинг» (король), русское «князь». Небольшие, но многочисленные дружины морских разбойников, или викингов (от этого слова происходит русское «витязь»), гордо именующих себя королями моря, проникли всюду, куда их увлекала воля вождей, куда заносили морские бури. Они грабили и разоряли прибрежное население Балтийского и Северного морей, высаживались на островах Британии, выходили в Атлантический океан, пересекая его, являлись в Америке, открыв ее на 500 лет раньше Колумба, нападали на Францию и, проникая по Западной Двине и Днепру до Черного моря, неожиданно являлись в Константинополе древней Византии. Славяне Новгородской земли прозвали этих людей «варягами» от скандинавского слова «вэринг»: этим именем называли себя те из пришлых скандинавов, которые поступали на службу к греческому императору или иным местным государям в качестве дружинников. Население Европы прозвало скандинавских выходцев норманнами – северными людьми, от английских слов: норд – север и ман – человек. Поднимаясь по путям рек внутрь стран, язычники-норманны жгли деревни, разрушали монастыри и, разрушив и разграбив христианскую общину, насмешливо говорили о людях, перебитых ими: «Мы пропели христианам обедню на мечех и копьях». Они уводили юношей в плен, превращая их в рабов, девушек и женщин в наложниц; не однажды, конечно, они терпели жестокие поражения, не однажды их поголовно уничтожало озлобленное население прибрежной Европы, жестоко страдавшее от их набегов. Но гибель не пугала их, они верили, что каждый воин, погибший в бою, будет вознесен девой-валькирией – служительницей бога войны – на небеса, в чертог бога Одина, и там будет вечно пировать, слушая песни о своих земных подвигах, вечно будет сражаться, нанося и получая раны, но не страдая от них и оставаясь бессмертным. Из всех религий человечества религия норманнов была наиболее активной – борьба, подвиги считались норманнами священным смыслом жизни.

Это героическое представление о будущей жизни как о вечном празднике битв и пиров вызывало у некоторых из них настроение, близкое к безумию, и эти воины, носившие имя «берсерков», то есть «медвежьих шкур», – потому что они вместо железных доспехов и лат шли в бой прикрытые лишь шкурой медведя, – часто бросались в бой против людей, закованных в железо, обнажив грудь, вооруженные только секирой или мечом. Иногда, одержав победу, они, подчиняясь испулению восторга победителей, бросались в огонь пожара и погибали в нем.

Об одном из таких людей, Рагнаре Лодброке, история рассказывает: «Он правил ладьей, как добрый ездок послушным конем, он разумел науку рун» – древней норманнской письменности, – «он знал, какие знаки нужно вырезать на клинке меча, чтобы победить, какие на корме судна и на веслах, чтобы избежать крушения в море». Свои первые набеги он направил на балтийское побережье, потом многократно воевал в Британии и Галлии. Тридцать лет он воевал и грабил, пока наконец Элла, король английской области Нортумберленда, не победил его. Взятый в плен Рагнар Лодброк был брошен в темницу, наполненную ядовитыми змеями, и, умирая от их укусов, создал – по преданию – «Смертную песнь», которая считается одним из лучших образцов скандинавской поэзии.

Тысячами погибали в морях и на суше эти удивительные люди, но их жизненная энергия была неиссякаема, и на место погибших являлись новые тысячи. Однако с течением времени они поняли и оценили преимущества мягкого климата, плодородной почвы и общих условий жизни Европейского материка и, постепенно соединяя маленькие дружины в крупные армии, превратились из кочующих грабителей в оседлых завоевателей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.